ИЛЬЯ БРАЖНИН

НЕДАВНИЕ БЫЛИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Илья Яковлевич Бражнин, автор широко известных книг «Моё поколение», «Друзья встречаются», «Сумка волшебника» и ряда других, своим творчеством прочно связан с Севером, с Архангельском, где прошли его детские и юношеские годы.

В своей книге И. Бражнин с теплотой и лиричностью рисует картины старого Архангельска, рассказывает о проводах архангелогородцами экспедиции Георгия Седова к Северному полюсу, о выставке картин ненецкого художника Тыко Вылко, о встречах со Степаном Писаховым и Борисом Шергиным, о жизни литературного Архангельска той поры и многих других «недавних былях», не утративших своего интереса и в наши дни.

- Илья Яковлевич Бражнин
  - Недавние были
  - Евгений КОКОВИН. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ ПИСАТЕЛЯ
  - НЕМНОГО ИСТОРИИ
  - У ТРЁХ РЕК
  - ЗЕЛЁНАЯ ГЛИНА
  - БЫСТРИНА НА ДВИНЕ
  - ПОСЛЕДНЯЯ ЛОДКА
  - ОНИ УЧИЛИ ПРЕКРАСНОМУ
  - КАК ПЛАВЯТ ЗОЛОТО
  - НА ПОРОГЕ СОВДЕПА
  - ЧТОБ И ДРУГИЕ ЗНАЛИ
  - ПРОСПЕКТ ПАВЛИНА ВИНОГРАДОВА
  - С НИМ ДО КОНЦА
  - ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХАНГЕЛЬСК
  - ДВАЖДЫ ДРУГ
  - СТЕПАН ПИСАХОВ И СЕМЁН МАЛИНА
  - ПЕРВЫЙ В МИРЕ
  - ДВА ПИСАТЕЛЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДВУХ КАПИТАНАХ
  - СУДЬБА КОРАБЛЯ
  - ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
  - ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО И ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО
  - ТРУДНАЯ ПРОСТОТА
  - СВЯЗЬ ВРЕМЕН
  -

Илья Яковлевич Бражнин

Недавние были

ИЛЬЯ БРАЖНИН

НЕДАВНИЕ БЫЛИ

Илья Яковлевич Бражнин, автор широко известных книг «Моё поколение», «Друзья встречаются», «Сумка волшебника» и ряда других, своим творчеством прочно связан с Севером, с Архангельском, где прошли его детские и юношеские годы.

В своей книге И. Бражнин с теплотой и лиричностью рисует картины старого Архангельска, рассказывает о проводах архангелогородцами экспедиции Георгия Седова к Северному полюсу, о выставке картин ненецкого художника Тыко Вылко, о встречах со Степаном Писаховым и Борисом Шергиным, о жизни литературного Архангельска той поры и многих других «недавних былях», не утративших своего интереса и в наши дни.

Евгений КОКОВИН. ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ ПИСАТЕЛЯ

Автор этой книги - известный советский писатель Илья Яковлевич Бражнин - о своей жизни рассказывает так:

«Родился я на Волге, рос на Северной Двине, доживаю дни свои на Неве. Все три реки хороши и примечательны по-своему. Но всех милей мне всё же моя Двина».

Да, Илья Яковлевич сейчас живет в Ленинграде, но детство и юность его проходили в Архангельске. Потому он по праву считает себя архангелогородцем и гордится этим. И большинство своих произведений - романы, повести, рассказы, очерки он посвятил нашему Северу. Несмотря на то, что в возрасте своём писатель уже перешёл на восьмой десяток, работает он плодотворно, с юношеской страстностью и увлечением - «ни дня без строчки».

С горечью вспоминает старый писатель свое детство. А оно было тяжелым, нищенским. Едва Илюше исполнилось шесть лет, умер отец. Огромная семья, где будущий писатель среди детей был двенадцатым, осталась без каких-либо средств к существованию. Лишь когда подросли старшие братья и стали работать, младшие получили возможность учиться.

Девяти лет Илюша Бражнин поступил в трехклассную начальную школу, а по окончании её сразу же - во второй класс открывшегося в Архангельске реального училища.

Литературные наклонности у Ильи Бражнина проявились рано. Первое стихотворение он написал в четырнадцать лет. В июне 1917 года по окончании реального училища девятнадцатилетний юноша поступил работать в редакцию газеты «Известия Архангельского Совета рабочих и крестьянских депутатов», редактором которой в то время был руководитель Архангельской большевистской организации Ян Тимме.

Вскоре в Архангельских «Известиях» появился первый фельетон Ильи Бражнина «Царьградские штучки» на антирелигиозную тему. После этого на страницах газеты стали постоянно печататься его фельетоны и статьи.

До 1922 года Илья Яковлевич служил в Красной Армии. Демобилизовался он в Петрограде и с тех пор стал профессиональным журналистом.

Илья Бражнин печатался в «Правде», «Красной газете», «Ленинградской правде», «Комсомольской правде», а также в журналах «Юный пролетарий», «Красная новь», «Звезда»,

«Ленинград» и многих других.

За тридцать лет работы в советской печати Илья Бражнин прошёл суровую и прекрасную литературную школу, газетно-журнальные «университеты» от самых нижних ступеней - репортера и литправщика до заместителя редактора и литературного редактора журнала.

Впервые как беллетрист Илья Яковлевич выступил в 1928 году с романом «Прыжок». Двадцатые годы были временем бурной активности и роста молодёжи, особенно комсомольцев, под руководством Коммунистической партии смело бравшихся за самые трудные дела на самых ответственных участках строительства Советского государства. Комсомольцы жили горячо, работали увлечённо, самозабвенно, с полной отдачей всех сил.

Об этих комсомольцах, об этой героической молодёжи, о славных её делах и рассказывал Илья Бражнин в своём первом романе. «**Прыжок**» имел большой успех. В Ленинграде не было буквально ни одного предприятия, учреждения, клуба, Дома культуры, где не устраивались бы диспуты по этому произведению. Остро и смело поставленные в романе вопросы воспитания молодежи волновали всех.

В течение первых двух лет роман издавался шесть раз.

Молодые советские люди - главные герои не только «Прыжка», но и большинства последующих романов, повестей, книг, очерков Ильи Бражнина.

Одна из основных тем писателя - тема борьбы советского народа за свободу и независимость, борьба за революцию, за лучшее будущее человечества. Теме гражданской войны посвящены его роман «**Друзья встречаются**», повести «**Даша Светлова**», «**Страна Желанная**».

Илья Яковлевич Бражнин написал много прекрасных книг. Лучшими из них несомненно являются романы «**Моё поколение**» и «Друзья встречаются».

Эти два произведения сюжетно совершенно самостоятельны. Действие в них происходит в предреволюционном Архангельске, затем в том же городе во время интервенции и на Северном фронте. Но в обоих романах - одни и те же герои, что подчёркивается и названием второй книги.

Я люблю эти книги не только за то, что в них показаны Архангельск, Север, жизнь архангелогородцев, наших земляков. Они мастерски написаны, с подлинной художественностью, с широкими масштабными обобщениями. Я люблю главных героев Бражнина за страстность и чистоту их душ, за их светлые устремления и высокие идеалы. Привлекают их доброта и

непримиримость к злу, ко лжи, к мерзостям жизни в условиях царского времени. Чувствуется, что образы эти созданы талантом доброго художника.

Впервые я прочитал северные романы Ильи Бражнина еще до войны. Архангельск, его улицы со старыми названиями, Северная Двина, отдельные дома, сады, пристани - всё это выписано очень точно, до мельчайших подробностей, но без надоедливого описательства. Родной город И. Бражнина встаёт в романах живым образом, широкой и яркой панорамой, создавая которую, художник пользовался всеми красками, всеми тонами и полутонами. Так показать Архангельск мог только высокоодарённый человек, хорошо знающий город и страстно любящий его.

Оба романа наполнены действием, большими событиями, борьбой.

В первом из них рассказывается об архангельской мужской гимназии, о её гнусных порядках и нравах, типичных для подобных учебных заведений того времени. Гимназисты сопротивляются драконовским законам установленным начальством, протестуют против вопиющей несправедливости, солдафонства и хамства многих учителей, подхалимства и шпионажа. Учащиеся тоже классово делятся, и между собой у них идёт непрерывная борьба. Сопротивляющиеся - сыновья слабо обеспеченных и совсем не обеспеченных родителей. Это, конечно, ещё не революционеры: они ещё мальчишки, которые не прочь иногда подурачиться, напроказничать. А сопротивляться, бороться их заставляет сама жизнь.

На фоне этой борьбы показана чистая и сильная, тоже сопротивляющаяся лжи и насилию любовь Илюши Левина и Ани Тороповой.

Роман «Друзья встречаются», описываемые в нём события многим северянам знакомы. Одни были участниками или свидетелями их. Другие знают об этом из литературы. И всё равно роман И. Бражнина читается с огромным интересом. Тому помогает писательское мастерство автора, ярко и убедительно нарисованные им картины героической истории Советского Севера.

Недавно я вновь перечитал северные романы Ильи Бражнина. Прочитал с не меньшим удовольствием, чем прежде, и, кстати, нашёл в них для себя ещё много нового. А это лучшее свидетельство их высоких достоинств. Известно, что хорошую книгу можно и должно читать и перечитывать. И каждый раз она будет раскрываться для вас всё большим своим многообразием, своими новыми качествами.

К тематической линии романа «Друзья встречаются» приближаются книги И.Я. Бражнина посвященные Великой Отечественной войне. В этой титанической борьбе нашего народа писатель не ограничился ролью свидетеля и наблюдателя. Он был активным участником её. Илья Яковлевич ушёл на фронт на третий день войны и вернулся домой лишь в сентябре 1945 года.

Первые тринадцать месяцев войны Илья Яковлевич провёл на Карельском фронте, работая в газете «Часовой Севера», а последующие три года находился с редакцией газеты «Сталинский воин» на Четвёртом Украинском фронте. Одновременно в течение всей войны Илья Бражнин был спецкором «Правды» и печатал на её страницах фронтовые очерки, статьи, оперативные корреспонденции.

За время, войны писатель прошёл с войсками действующей армии по Заполярью - Кольскому и Рыбачьему полуостровам, по Центральной России, Украине, Причерноморью, Приазовью, Крыму, Прикарпатью, Карпатам, Польше, Верхней Силезии, Чехословакии - до Праги.

В самые трудные для нашей Родины времена - в декабре 1941 года И.Я. Бражнин вступил в члены Коммунистической партии.

Около шестисот очерков, статей, корреспонденции Бражнина было опубликовано в различных газетах в годы войны. За свою безупречную и оперативную журналистскую работу писатель был награждён орденами и медалями.

Творческим результатом участия в войне И. Бражнина явились книги «**Крылатые воины**» (очерки о лётчиках-истребителях), «**Северные богатыри**», «**Военные рассказы**», повесть «**Главный конструктор**», «**В Великой Отечественной**» (трилогия записок военного корреспондента - «Северная тетрадь», «Южная тетрадь» и «Западная тетрадь»).

Кроме этих книг, в послевоенные годы Илья Яковлевич опубликовал **повести «Мечта бессмертна**», «**Он живёт рядом**», «**Как мимолётное виденье**», «**Маленький и большой**», «**Сирень на Марсовом поле**», романы - «**Голубые листки**» и «**Светлый мир**». Последний роман написан на близкую писателю тему, к которой он часто обращался и раньше. Это - тема спорта, физического воспитания. Об этом им уже были созданы повести «**Мяч и солнце**», «**Их пятеро**», «**Линия бега**», сборник своеобразных познавательных очерков «**Алые майки**».

Особое место в творчестве Ильи Бражнина занимает драматургия. Наиболее значительные его пьесы - «Крылья» и «Он живёт рядом». Первая была поставлена на сцене Академического театра драмы имени Пушкина в Ленинграде, вторая - в Академическом театре имени Моссовета в Москве.

И.Я. Бражнин выступает и в необычном для него жанре - как переводчик-поэт. Он впервые перевёл с украинского языка на, русский поэму Ивана Котляревского «Энеида». Существуя на украинском языке, она более полутораста лет оставалась не переведённой на русский, так как многие авторитетные специалисты считали, что колорит этого блистательного произведения настолько густ и своеобычен, украински локален, что перевести его на другой язык невозможно. И действительно, переводчику встретились огромные трудности. С перерывами И. Бражнин работал над переводом «Энеиды» двадцать лет. Поэма в 7300 строк обрела новую жизнь, выйдя в свет на русском языке в 1953 году. Она разошлась очень быстро, и вскоре Гослитиздат переиздал её, массовым тиражом.

В 1968 году общественность отметила семидесятилетний юбилей Ильи Яковлевича Бражнина. Но он не сложил своего любимейшего оружия - продолжал писать, создавать новые и новые книги. Совсем недавно вышла в свет его книжка «**Сумка волшебника**» - произведение весьма необычное по жанру и как бы подытоживающее более чем полувековой творческий путь писателя. Сейчас Илья Бражнин написал вторую книгу «Сумки волшебника» и вот эту книгу о Севере - «**Недавние были**», которую вы, читатель, держите в руках.

Большой популярностью пользуются у зрителей телевизионные спектакли по повестям И. Бражнина «Как мимолётное виденье» и «Сирень на Марсовом поле».

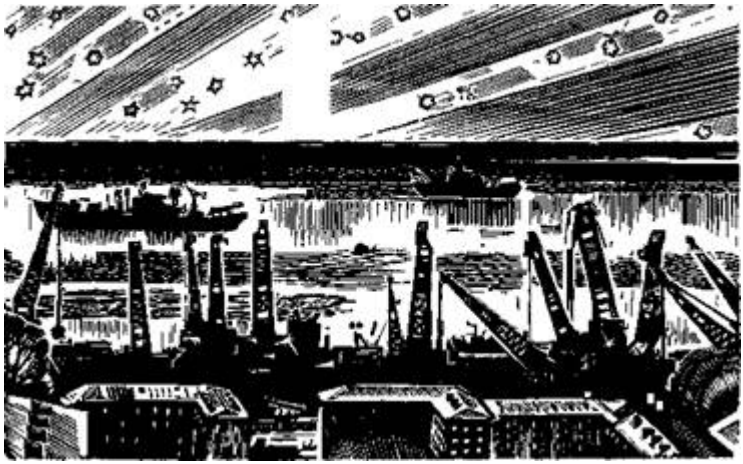
Сотрудничая более трех десятилетий в газетах и журналах, Илья Яковлевич много ездил по стране, по городам, сёлам, новостройкам. Это писатель большого жизненного и литературного опыта. Своё умение и опыт он охотно и любовно передаёт литературной молодёжи.

Книги Ильи Бражнина переведены на польский, румынский, чешский, болгарский, английский и другие языки.

«Но всех милей мне всё же моя Двина» - это не просто слова. Илья Яковлевич доказал, подтвердил их своими лучшими, талантливыми книгами.

Своё щедрое творческое сердце писатель отдал до самозабвения любимому им Северу.

Евгений КОКОВИН



НЕМНОГО ИСТОРИИ

Книга эта - о Севере и северянах, которые питали моё творчество долгие-долгие годы.

Первый, хотя и не единственный, герой её - Архангельск, милый мой и неповторимый Архангельск.

Я приехал сюда в начале века трех лет от роду и уехал двадцатичетырёхлетним. Наезжал я и позже, уже перебравшись на жительство в Ленинград.

Много нового зачиналось в старом Архангельске на моих глазах. При мне строилась первая каменная стенка на Соборной пристани, ставился на ней первый в городе и порту подъёмный кран, начала работать первая электростанция, пошёл по городу первый трамвай, строился на Троицком проспекте - ныне проспект Павлина Виноградова - первый каменный жилой дом. При мне родился в Архангельске спорт, и я был свидетелем и участником первых лыжных и конькобежных и организатором первых легкоатлетических состязаний.

Тогда же открылось в городе реальное училище, нанёсшее чувствительный удар по классическому образованию, и ставился на береговом угоре превосходный, в натуральную величину памятник Петру Первому работы М. Антокольского.

К слову сказать, тогда ещё стоял близ того места на Набережной некрашеный деревянный домик Петра, в котором он будто бы жил во время своих трех наездов в Архангельск и который, по преданию, им самим и был срублен.

В моё время домик был ещё в сносном состоянии, и по не слишком просторным комнаткам его можно было ходить без опаски, хотя половицы под ногами уже изрядно поскрипывали.

После того, как был поставлен памятник Петру, домик для защиты от непогод заключили в красный кирпичный футляр, который и простоял до тридцать третьего года, когда футляр разобрали на кирпичи, а самый домик увезли в подмосковное село Коломенское, где он стоит и по сей день.

Однако вернёмся к Архангельску начала века и к наиболее

впечатлявшим событиям того времени, свидетелем которых мне довелось быть.

Помню, как уходил из Архангельска в двенадцатом году в свою трагическую экспедицию Георгий Седов (о чём будет рассказано позже в отдельной главе), а спустя три года пришвартовались к Соборной пристани «Таймыр» и «Вайгач» Б. Вилькицкого, впервые в истории мореплавания прошедшие Северным морским путем от Берингова пролива до Архангельска.

Ещё двумя годами позже стала в Архангельске Советская власть, проходил Первый губернский съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а вскоре после того прогрохотали первые громы гражданской войны на Севере.

Многое в Архангельске делалось на моих глазах впервые. Случилось, что и Великую Отечественную я начинах на Севере, не так уж далеко от Архангельска, на Кольском полуострове, а в сорок втором на три недели попал в архангельский госпиталь. Об этом чуть подробней я расскажу в конце главы.

Многое повидал и многое пережил я в Архангельске, многих талантливых, смелых, своеобычных людей знавал в нём. Не без основания Архангельск, в котором прошли моё детство и моя юность, я считаю родным городом. Дорог мне и новый Архангельск, мало в чём схожий с прежним, но пишу я всё же о старом Архангельске, потому что знаю его лучше, чем новый, и ещё потому, что многие из тех, кому попадёт в руки эта книжка, не знают его вовсе. А не знать такого чудесно-своеобразного, такого неповторимо особого города, как старый Архангельск, просто нехорошо, особенно для архангелогородцев.

Первый историк города «архангелогородский гражданин» Василий Крестинин, издавший в 1792 году «Краткую историю о городе Архангельском», так зачинает свой добросовестный и заслуживающий во всех отношениях уважения труд: «Город Архангельский почтен быть должен, или действительно почитается житницей и сокровищницей Российского севера в Европе, за множество торгов, стекающихся в нём ежегодно из чужестранных государств и из внутренних областей Российских, соединяющих и разделяющих Российские и иностранные товары различного вида и цены, нужные, полезные и приятные для человеческой жизни».

Так повествует о своём городе первый архангельский историк, и, надо сказать, он довольно верно определяет место и значение Архангельска как торгового центра русского севера, да и не только торгового.

Архангельск был в начале века одним из крупнейших морских и речных портов России и единственным на севере её. При этом некоторые черты местной жизни отличали его, как особый, своеобразный город, во многом несхожий с другими городами России.

Это был светлый, с долгими белыми ночами городок, с немощёными, пыльными, но прямыми улочками и деревянными мостками-тротуарами в три-четыре дощечки. Кроме губернаторского дома, примыкавших к нему, так называемых, присутственных мест, городской думы, гимназии и подворья какого-то монастыря, каменных домов в Архангельске почти не было. При этом подавляющее большинство каменных домов стояло на главной городской магистрали - на Троицком проспекте, ныне проспекте Павлина Виноградова.

Кроме Троицкого проспекта, было в городе еще четыре других - Псковский или Средний (ныне проспект Ф. Чумбарова-Лучинского), Петроградский (ныне проспект М. Ломоносова), Новгородский и Костромской (ныне проспект Космонавтов). Все эти пять проспектов точно следовали изгибам береговой линии и пересекались вертикально небольшим количеством улиц, ни одна из которых, за исключением Северодвинской и Вологодской, не сохранила прежнего названия.

За последним проспектом - Костромским - уже ничего городского не было: никаких строений. Были, так называемые, Мхи, то есть низменная, болотистая, поросшая можжевельником и папоротником местность, и дальше лес. На Мхах и в лесу мы, городские мальчишки, летом и осенью собирали морошку, голубику, клюкву.

Вдоль реки перед проспектами тянулась, как и сейчас, длинная-предлинная набережная с бульварчиком, с ветхими перильцами и аллейкой из берёз в районе Немецкой слободы.

Немецкая слобода - название старое, даже древнее. Завелась эта самая Немецкая слобода, пожалуй, ещё раньше самого города, основанного по указу Ивана Четвёртого, известного в истории

больше под именем Ивана Грозного, от 1584 года. Указ был весьма своевременным (а может быть, даже и несколько запоздалым), так как торговый и административный центр края - Холмогоры - находился далеко от морских путей. Нужен был на севере порт, и место для строительства нового города-порта, названного первоначально Новыя Холмогоры, было выбрано хорошо. Город стоит на наволоке, то есть на выдающемся мысу при широкой, многоводной реке, почти у самого моря.

Место для строения города, строго говоря, даже не было выбрано, а как-то само выбралось, ибо прежде города тут ещё в двенадцатом веке обосновался устроенный новгородцами Архангельский монастырь. Потому, когда вновь построенный город Новыя Холмогоры в 1613 году переименовывали, то дали ему то же название, какое имел стоящий на этом месте монастырь. Но, в отличие от монастыря, его звали Архангельский город. К наволоку, на котором он был поставлен, ещё за тридцать лет до указа Ивана Грозного о строительстве города приезжали англичане и, заведя деятельные торги с местным населением, начали селиться в этом месте.

Они же вместе с голландцами и были первыми поселенцами Немецкой слободы, названной так потому, что там селились иностранные купцы. Всех иностранцев на Руси в те времена звали немцами, а следовательно, и посёлок их назвали Немецкой слободой.

Позже появились и настоящие немцы, и, помню, во вновь открывшемся реальном училище (это было в 1911 году) со мной в одном классе учились ребята из немецких семей - Пец, Гильде, Ландман, Гернет и другие, составлявшие, пожалуй, большую часть класса - самого старшего в училище, ибо мы были первым выпуском реального училища.

В Немецкой слободе жили лесозаводчики, крупные купцы, пароходчики и прочие местные тузы. Жили они в одноэтажных или двухэтажных особнячках за высокими заборами, жили отъединённо, глухо, замкнуто, хотя дети их учились в общих для всех гимназиях (мужской и двух женских) и других училищах, и ассимиляция «немцев» шла постепенно и неотвратимо своим исторически обусловленным порядком.

Немецкая слобода была самой чистой и благоустроенной частью города. За ней уже лежала буйная слободка - Кузнечиха, а

через речку - рабочая и морская Соломбала, расположенная на островах, которые каждую весну во время паводка заливало так, что соломбальцы плавали по улицам в лодках.

Главной примечательностью города была, конечно, многоводная и широкая Северная Двина с фарватером в двадцать метров глубиной, по которому могли ходить и океанские пароходы. А приходили пароходы, шхуны и другие суда в Архангельск за лесом, овсом, смолой, льном, пушниной, пенькой и другими товарами со всего света, так что в архангельском порту, летом очень людном, пёстром и оживлённом, можно было встретить и датчанина, и норвежца, и немца, и англичанина, и голландца, и австралийца, и матроса-негра, словом, кого угодно.

Торговки архангельских рыночных ларьков изъяснялись по-английски, а иностранные матросы усиленно пытались ухаживать за красавицами поморками.

Это, впрочем, было не так-то легко. Поморки, как вообще женщины на русском Севере, были свободолюбивы и горды. Рабынями они ни в обществе, ни в семье не были, ходили с мужьями, случалось, на промыслы, хорошо управлялись не только с коровами, но и с парусом, с вёслами, а иногда и капитанами бывали. Георгий Седов в своей брошюре «Право женщин на море», написанной в 1907 году, рассказывает, что «в Архангельске два раза побывал на шхуне поморки Василисы, ставшей во главе мужской команды».

А вот ещё одно свидетельство о поморской женщине-капитане. В книге «Запечатлённая слава» автор ее Борис Шергин рассказывает: «Помор Люлин привел в Архангельск осенью два больших океанских корабля с товаром. Корабли надо было экстренно, разгрузить и отвести в другой порт Белого моря до начала зимы. Но Люлина задержали в Архангельске неотложные дела. Сам вести суда он не мог. Из других капитанов никто не брался: время было позднее и все очень заняты. Тогда Люлин вызывает из деревни телеграммой свою сестру, ведет её на корабль, знакомит с многочисленной младшей командой и объявляет команде: «Федосья Ивановна, моя сестрица, поведёт корабли в море заместо меня. Повинуйтесь ей честно и грозно…» - сказал да и удрал с корабля.

- Всю ночь я не спал, - рассказывает Люлии. - Сижу в «Золотом якоре» да гляжу, как снег и грязь валит. Горюю, что

застрял с судами в Архангельске, как мышь в подполье. Тужу, что забоится сестрёнка: время штормовое. Утром вылез из гостиницы - и крадусь к гавани. Думаю, стоят мои корабли у пристани, как приколочены. И вижу - пусто! Ушли корабли! Увела! Через двое сутки телеграмма: «Поставила суда в порт-Кереть на зимовку. Ожидаю дальнейших распоряжений. Федосья».

Таковы поморки. Старая новгородская порода виделась в них при встречах явственно и с первого взгляда. Они держались независимо, одевались по собственному вкусу, а иной раз подчёркнуто по старинке. Случалось, носили под платками налобные повойники, расшитые жемчугом. Жемчуг был свой, беломорский - светлый, серовато-перламутрового отлива, несколько холодноватого блеска, как и само Белое море.

Кстати, о беломорском жемчуге. Недавно один приятель мой Николай Иванович Жуков принес мне вырезку из газеты «Смена».

- Возьмите. Вы, я знаю, интересуетесь Севером, пишете о нём. Может, пригодится.

Положил вырезку на мой стол. Гляжу заголовок: «Русский жемчуг». Посмотрел на подпись внизу очерка: «А. Николов. Белое море». Прочел очерк. В самом деле, интересно, и в наши дни в диковинку. Автор очерка только что вернулся в Архангельск с рыбацкой тони от Белого моря. Он еще весь полон тем, что видел и слышал у рыбаков. Особенно запомнилась ему встреча в старой, заброшенной промысловой избушке с рыбаком Цыганковым, носившим на шее ниточку с одной жемчужиной. Об этой жемчужине и разговорился очеркист с Цыганковым.

- Откуда у тебя?

- А и сам толком не знаю. У деда их полна нитка была. Он-то те бусины с шеи не сымал…

- А давно жемчуг тут добывали?

- В двадцатом годе ещё был промысел. Был. Точно. Старик в Нименьге жил, знал секреты разные про жемчуг. Тут так: добыть-то его, может, и добудешь, дак ведь сырая она, жемчужина. Главное - блеск ей дать. Да чтоб не тускла с годами, всё время светла была, слезой лилась. Раньше эти ракушки в Онеге попадались, в Сюзьме, а особенно их было в нашей Казанке.

Разные сюда люди наезжали: попортят, перегубят полреки, на новую переметнутся… С ею ведь как надо: защепом со дна ракушку подымешь, на солнышке малость подержать требуется. Створенки раскроются, ты костяной лопаточкой, крохотной такой лопаточкой, и скоблишь жемчужину. А ракушку - в воду, чтоб дальше жила…

- И много жемчужин попадалось?

- Дак ведь как считать: на сотню ракушек - три-четыре случалось.

«В старину считалось, что жемчуг даётся только тому, у кого на совести никакого пятна нет. А если лежит за душой грех - пустое дело идти на промысел. Хоть тыщу раковин прошарь - пусто. Ловцы шли на реку, как на святое дело. Загодя в бане мылись, чистые рубахи доставали. И боже упаси было во время промысла ругнуться или обидное слово товарищу молвить. А уж попадётся жемчужина ровная да горошистая - это, значит, за добро награда, а не просто так - лёгкий фарт. Сразу бусинку в рот, под язык, чтоб затвердела, чтоб ярким солнцем не пережгло».

Дальше очеркист рассказывает: «Прошлым летом я был в Архангельске. Начальник «Севрыбвода» Александр Ильич Бурков рассказывал о сёмге, мимоходом упомянул о раковинках-жемчугоносницах:

- Хотим вот группу специальную снарядить на Казанку, на участок Кривец. Думаем отыскать старые промысловые места. Как-никак лет тридцать-сорок раковины не беспокоили. Может, новая колония народилась. Иностранцы-ювелиры вдруг, понимаете, вспомнили о русском жемчуге. А у нас, к сожалению, из старых артельщиков почти никого не осталось. Многие секреты со стариками ушли. Всё заново начинать надо».

Однако оставим жемчуг, который доводилось иной раз видеть на повойниках поморок, и вернёмся к самим поморкам. Поморы и их жены наводняли город в осенние месяцы по окончании промыслов на Мурмане, особенно в сентябре, когда в городе шла Маргаритинская ярмарка. Поморы приходили в Архангельск на своих шхунах, чтобы продать наловленную рыбу, как следует погулять и на весь год накупить муки и других продуктов, после чего уезжали к себе в Мурманские становища. В сентябре вся Двина, имеющая против города полтора километра в ширину,

почти сплошь установлена бывала пароходами, кораблями, шхунами, промысловыми судами, так что переехать на ту сторону было не так-то просто. Местным «макаркам» - пароходикам, держащим перевоз (моста через реку тогда не было) и принадлежащим пароходчику Макарову, чтобы перебраться к Кегострову, к Исакогорке или к другим окрестным деревням, приходилось юлить между заставившими реку кораблями, соблюдая величайшую осторожность.

Примечательнейшим местом старого Архангельска был базар, раскинувшийся на площади возле Буяновой, позже Поморской улицы.

Архангельский базар был своеобычен и имел сугубо местный колорит. Продукты на него привозили из окрестных деревень по преимуществу крестьянки. Они приезжали из-за реки на восьмивесельных карбасах, нагруженных так, что сидели почти до уключин в воде. Гребли только жонки, гребли по-особому - часто, споро и дружно. Они не боялись ни бури, ни грозы, ни дождя, ни дали. Молоко, простоквашу и сметану, вообще молочные продукты, они привозили в огромных двоеручных, плетёных из дранки корзинах. Восемь жонок, которые только что бойко гребли в карбасе, да девятая, сидевшая на руле, выволакивали из него корзины, и все в ряд, неся восемь двоеручных корзин, шествовали от пристани к базару.

Молоко продавалось в деревянных полагушках - бочечках-бадейках с тремя-четырьмя обручами и полулунной прорезью на верхнем донце. Эта полулунная прорезь затыкалась такой же полулунной деревянной крышечкой, обернутой снизу чистейшей полотняной ветошкой. Хозяйки придирчиво выбирали молоко, приходя на базар со своими деревянными ложками.

Жонки, как сказано, приезжали на базар каждый день, но мужики появлялись на базаре не так часто и только с рыбой, выставляя улов тут же перед собой поверх брошенной на землю рогожки. Архангельские крестьяне в свободное от полевых работ время почти поголовно промышляли либо неподалеку от своих деревень, либо уходя к Двинскому устью, розовотелую сёмужку, узконосую стерлядку, плоскую чёрно-белую камбалу, щуку и другую рыбу. Деревни, как правило, ставили при реках, и у каждого хозяина были мерёжи, морды и прочая снасть.

На базаре продавали рыбу не только сами ловцы, но также и

перекупщики. Кроме того, по закраинам базарной площади стояли просторные в два створа лавки местных рыбных тузов. Продавали в них очень хорошо разделанную, распластанную и просолённую треску, а также семгу и огромные - килограммов до двухсот - туши истекающего жиром палтуса.

Торговали и мясом, только что стреляной дичинкой и разными галантерейными мелочишками. Торговали с лотков серебряными изделиями: всякими перстеньками с цветными камешками-стекляшками (супирчиками), висячими серьгами-колачами, кольцами с цинковой прокладкой внутри «от зубной боли» и серебряными, тиснёными из тонкого листа коровками, которые жонки покупали, когда заболевала корова, чтобы повесить эти жертвенные коровки перед образом святого Фрола - покровителя стад.

Прошло шестьдесят с лишним лет с тех времён, о которых я пишу, и больше старого Архангельска я не видел, хотя побывал в нём после того дважды.

Первая месячная побывка случилась в тридцать шестом году. Я писал тогда роман «Друзья встречаются» и приехал в Архангельск, чтобы повидать нужных людей и порыться в архивах. Кроме этих, так сказать, официальных причин и интересов, был у меня, признаться, и один подспудный, особый, глубоко личный и, может статься, самый главный из интересов - повидать свой старый Архангельск.

Как же все это получилось, и как выполнил я все три задачи? Две из них я выполнил в полной мере: и нужных людей, охотно шедших мне навстречу во всех моих нуждах, повидал, и разыскал все архивные документы, какие только можно было раздобыть. Но одной из трёх заданных себе задач, к вящему моему сожалению, я не сумел выполнить - старого Архангельска я не повидал. Это случилось не по моей вине, а просто потому, что старого Архангельска больше не существовало. Его не было. Не было ни базара, ни спешащих к нему на карбасах жонок, ни полагушек, ни туесов с творогом, ничего такото, что отличало бы этот город от сотен других русских городов.

Молоко продавалось из стандартных алюминиевых бидонов. Рыбаков я никаких не встречал. Поморок в повойниках тоже на улицах что-то не видно было. А газеты продавались не мальчишками с рук и уже «не на завтрашний день», как прежде

бывало, а на самый обычный, текущий, и в самых обыкновенных киосках.

Всё было в городе обыкновенно, как в других добропорядочных городах, и прежнего Архангельска почти не существовало, да и не могло существовать в полной мере. История вспять не возвращается.

С грустью побродил я по обыкновенным улицам с обыкновенными недеревянными тротуарами, постоял перед обыкновенным домом - бывшим номер десять на Поморской улице, в котором я прожил семнадцать лет. Я не узнал ни дома (он был уже другим), ни улицы и, повернув к набережной, пошёл к реке, почему-то загороженной теперь забором.

В общем-то ничего особенного не произошло как будто. Город изменил свой облик, потому что не мог не изменить его. Современные формы жизни неотвратимо идут на смену прежним, становящимся мало-помалу формами архаическими, не соответствующими современному строю, современному темпу, современным требованиям жизни. И тут уж ничего не поделаешь.

Вопрос о долговременных ценностях, об исторических памятниках искусства решен у нас категорически в их пользу. Они сохраняются, охраняются, если надо, реставрируются и остаются живыми свидетелями ушедших эпох.

Что касается быстротекущих форм быта, объемлющих нас, как одежда объемлет наши тела, то, подобно этой самой одежде, они не могут сохраняться долго. Рубаху не проносишь шестьдесят лет - фасон выйдет из моды, материал протрётся, а хранить лохмотья только потому, что они стары, вовсе ни к чему.

Не будем же стенать по поводу того, что не сохранилось прежних чудесных полагушек и повойников, деревянных мосточков, водоразборных будок, где за бумажный билетик, вроде нынешнего трамвайного, можно было получить ушат ледяной воды, и прочих примет старого Архангельска. Процесс изменения жизненных форм необратим, и прежнего не воротишь. Впрочем, это вовсе не значит, что о нём не надо знать, что оно ничего для нас не значит, не имеет никакого смысла и никакой цены.

Иваны непомнящие никогда не были и не будут нашим идеалом. Преемственность жизненных форм безусловна, и в

тридцать шестом году, приехав в Архангельск после пятнадцатилетнего отсутствия, я с удовольствием проехался в трамвае, бегущем по рельсам, которые когда-то при мне укладывались неподалёку от базара с полагушками, туесами и широконькими крынками, с которых расторопные жонки ловкими и неуловимо быстрыми движениями снимали сметанную плёнку и сворачивали её вчетверо.

Новый Архангельск есть новый Архангельск, и он хорош своими многоэтажными зданиями, своим лесотехническим институтом и другими вузами, которых в моё время не было и в помине, своим мостом через Двину, строительства которого мы, старые архангелогородцы, так страстно и так долго добивались.

А старый Архангельск, - что ж, он остаётся старым Архангельском, доброй памятью нашей. Он остается со мной. Хочу, чтобы он остался и с вами.

Теперь еще несколько строк о втором посещении Архангельска после расставания с ним в начале двадцатых годов. Попал я на этот раз в родной город неволей, и занёсший меня туда ветер был недобрым ветром.

Было это так. Весь первый год Великой Отечественной я провел на Карельском фронте, в Заполярье. Работал в газете Четырнадцатой армии «Часовой Севера». Редакция находилась в Мурманске, но я бывал в ней мало. Больше мотался по передовой. Облазил все участки Мурманского направления, ездил на Кандалакшское. Завязал очень много крепких и дорогих мне знакомств, приобрел множество друзей, со многими из которых и сейчас не теряю связи, а с иными и вижусь время от времени.

Был я в те дни деятелен, как муравей, и худ, как щепка, вполне благополучен - ни разу не был ранен и все фронтовые тяготы переносил, как положено.

И вдруг всё оборвалось, как ножом обрезало. За тринадцать месяцев беспрерывных фронтовых скитаний перенапрягся. Открылась грудная жаба и ещё сто одна болезнь. Меня отвезли в госпиталь. Это произошло десятого июля сорок второго года. Денек-другой пролежал я в Мурманском госпитале, потом, когда город стали бомбить почти беспрерывно, раненых и больных, и меня в том числе, из города эвакуировали. Сперва привезли меня в Мончегорск. Там пролежал я три дня, а потом уложили меня в

санитарный поезд и повезли в… Архангельск.

Сутки плелись мы до Беломорска (бывшее становище Сорока), в котором даже земля деревянная, точнее, опилочная. Лесопильные заводы Беломорска давали столько опилок, что девать их было, некуда, и они использовались на покрытие мостовых. Потому все сорочане (а позже беломорцы) ходили по опилкам.

От Беломорска на Мурманской железной дороге за время войны проложили ветку к Обозерской на Северной железной дороге. Таким образом, Мурманск соединялся теперь железной дорогой не только с Ленинградом, но через Обозерскую - Вологду и с Москвой. Переброска военных грузов, шедших из Мурманска беспрерывным потоком в центр и на другие фронты, значительно упростилась и стала безопасней.

Девятнадцатого июля я попал, наконец, возле Обозерской на дорогу Москва - Вологда - Архангельск. Теперь до Архангельска было немногим более ста километров. И уже на другой день я лежал в одном из архангельских госпиталей на южной окраине города, называемой Быком.

Не знаю, по какому неведомому телеграфу узнали мои земляки, что я в городе, но уже на следующий день возле моей госпитальной койки появились работники Архангельского издательства. А ещё через два дня появился в моей палате полковой комиссар П. Шабунин, с которым я встречался в декабре сорок первого года на полуострове Рыбачьем и который, будучи комиссаром оборонительного района Рыбачьего и Среднего полуостровов, вместе с командующим, полковником Д Красильниковым возглавлял защиту этого важнейшего на Севере фронтового участка.

Несколько позже навестил меня комиссар И. Шемякин, с которым я сдружился во время той же тяжкой декабрьской командировки на передовую. Потом появились попавшие во время войны в Архангельск ленинградские писатели Вениамин Каверин и Юрий Герман.

Приходили ко мне и вовсе незнакомые люди, представлявшиеся просто читателями. Оказалось, Архангельск населён многочисленными моими друзьями - и новыми и старыми, и мирного времени и фронтовыми, и пришлыми и

коренными архангелогородцами.

Седьмого августа сорок второго года, пробыв в городе более двух недель, я оставлял Архангельск, чтобы после короткой побывки у родных снова вернуться на фронт.

И вот я еду по городу в открытой машине, оглядывая улицы уже глазами архангелогородца. И радуюсь, что город целёхонек, так как немцы его в ту пору не бомбили.

На пристани я усаживаюсь на пароход «Москва», перевозящий пассажиров через реку на вокзал. Это та же «Москва», которая возила меня на вокзал и обратно тридцать лет тому назад. Узнаю каждый её уголок и, конечно, прежде всего её характерный, зычный гудок, слышный во всём городе. Этот, издавна знакомый гудок снова возвращает меня в старый Архангельск, которого уже нет, но который все же есть - по крайней мере, в нас, старых архангелогородцах.

У ТРЁХ РЕК

Архангелогородцы, как и вообще северяне, - ужасные непоседы. Они ходили и по Студёному, и по Баренцеву, и по Карскому морям и по Ледовитому океану. Ходили на Новую Землю, на Землю Франца-Иосифа, на Шпицберген и к далёкому, считавшемуся недосягаемым Берингову проливу. Пробовали торить дорогу и к Северному полюсу. Один из них ходил даже с Амундсеном к Южному полюсу.

Эти мореходы, о которых я обязательно расскажу дальше, сопричастны к судьбе Архангельска и его истории, судьбе и истории всего края, всего Севера.

Но прежде, чем уходить вместе с ними от архангельских пристаней в далёкие и неведомые путешествия, я расскажу о красавице Северной Двине, на которой стоят эти пристани. К ней я и обращаю теперь своё сердце и своё слово, что, в сущности говоря, одно и то же.

Родился я на Волге, рос на Северной Двине, доживаю дни свои на Неве. Все три реки хороши и примечательны по-своему. Но всех милей из них мне всё же моя Двина.

Воду я люблю истово и с младых лет. Эта любовь, кажется, родилась вместе со мной. Без моря, без реки мне и жизнь не в жизнь, как, впрочем, и другим архангелогородцам - и настоящим и бывшим. Земляк мой - писатель архангелогородец Евгений Коковин сказал в своей повести «Белое крыло»: «…обидно сознавать, что есть на нашей земле люди, живущие вдали от моря, от озер и рек. Они, эти люди, лишены одной из самых больших наших радостей. Ведь такое великое счастье - слушать плеск волн, плыть на катере, на яхте, хотя бы на крошечной плоскодонке или плотике, купаться, плавать, нырять, ловить рыбу. Великое счастье - жить у воды!»

Это верно. Великое счастье - жить у воды, и особенно у такой большой воды, как Северная Двина. Я не знаю реки краше её, полноводней, величественней, сильней.

Полуторакилометровый в ширину у Архангельска и безмерный в длину первозданный пласт её может быть то хмуро-свинцовым, то улыбчиво-серебряным, то угрюмо-чёрным, то

розово-солнечным. Река, как она вспоминается мне, то бывала заставлена сплошь рыболовецкими шхунами то прикрыта тягуче медлительными вереницами плотов, то просторно пустынна и ясно спокойна. Но, разъярясь, Северная Двина становилась страшна и беспощадна.

Я видел, как в осенний сентябрьский шторм она почтя начисто уничтожила Архангельский яхтклуб, часть судов разметав, часть разбив в щепы.

Я помню, как однажды в шторм на Северной Двине во время неудачного маневра парусом меня метнуло вместе со шлюпкой под высокую свайную пристань и, сломав мачту, затопило моё судёнышко.

Я сам был свидетелем, как в лодке, в которой мы прошли на вёслах двадцать с лишним километров, к концу пути, когда разразилась внезапная буря, товарищ мой, сидевший на руле, не мог удержать рвавшегося из рук румпеля, а один из пассажиров заболел морской болезнью.

Не ограничиваясь своим личным опытом, сошлюсь, к случаю, ещё на двух весьма солидных свидетелей. В своей «Краткой истории о городе Архангельском» Василий Крестинин так рассказывает о шторме, разыгравшемся на Северной Двине шестого сентября 1699 года: «Страшная буря стоящие под городом корабли срывает с якорей и заносит на берег, и причиняет разбитием барок, лодей и дощаников великие убытки торгующим».

У Бориса Шергина - знатока и певца русского Севера, есть такое свидетельство свирепого своенравия красавицы Двины: «От месяца сентября возьмутся с моря озябные ветры… Холодные ветры приходят из силы в силу. Не то что в море, а на реке Двине такой разгуляется взводень, что карбаса с людьми пружит и суда морские у пристаней с якоря рвёт. Помню, на моих было глазах: такая у города погодушка расходилась, ажно пристани деревянные по островам разбросало и лесу от заводов многие тысячи брёвен в море унесло».

Большая вода Северной Двины опасна чертовски, но и чертовски хороша. Серьёзная река - Северная Двина. Неповторимая река. Она была купелью моего детства и моей юности.

ЗЕЛЁНАЯ ГЛИНА

Архангельск девятисотых годов жил лесом и треской. Треску привозили снизу, через морские ворота, на маленьких тресковых шхунах или в трюмах больших пароходов Мурманского пароходства.

Лес шёл с верховьев Северной Двины. Огромная полноводная красавица-река несла к городу караваны плотов. Здесь они кончали свой долгий неспешный путь. Их ставили на прикол вплотную к берегу, после чего начиналась выкатка леса на берег. Делалось это так. Плоты развязывали и разбирали баграми по бревну. От кромки воды на берег и по берегу до каждого из штабелей леса прокладывали две прямых линии из брёвен, отстоящие одна от другой сажени на две. По образовавшимся рельсам-каткам вытаскивали брёвна на берег к штабелям. На вывозке брёвен к каждому штабелю работали две лошади, управляемые двумя коногонами. Упряжка рабочей лошади была до крайности проста. Она состояла из хомута и привязанной к нему длинной верёвки. К свободному концу верёвки прикреплялся большой железный крюк. Этот крюк коногон одним ловким взмахом всаживал в торец бревна. Второй коногон проделывал то же самое по другую сторону катков. Потом коногоны ударяли в кнуты, и лошади, натянув верёвки, волокли бревно на берег, к штабелям. По мере того, как штабель рос, втаскивать брёвна наверх становилось всё труднее. Впрочем, и по низу тащить огромные сырые, неокорённые бревна было непросто. Я достаточно нагляделся на работу коногонов и лошадей. Как ни был я мал в то время, я все же понимал, сколь тяжел и надсаден их труд.

Это на целую жизнь засело в памяти. Вот почему и сейчас, более чем шестьдесят лет спустя, мне ясно видится, как низкорослые лохматые лошадёнки с выпирающими на боках рёбрами, натуживаясь и в такт мелким шажкам поматывая головами, тянут огромные брёвна. Они с трудом выдирают дрожащие ноги из вязкой зелёной глины. Рядом бредут коногоны, и им приходится не легче, чем лошадям. Закатав штаны, они вместе с брёвнами волокут к штабелю на ногах по крайней мере по полпуда глины. И чем дальше, тем больше её налипает. С громким чавканьем коногоны вытягивают ноги из липкого месива, потом с трудом всаживают в него и снова с натугой вытаскивают. Они задыхются и обливаются потом, проклиная и

брёвна, и лошадей, и себя, и весь остальной свет, особенно эту проклятую глину.

В обед коногоны купались, шумно кидаясь с плотов в тёмную воду. Потом кто-нибудь приносил из казёнки шкалик водки, и все садились на бревна перекусить.

Случалось, они пели, и песня была тягучей и надсадной, точно и она тоже брела с ними вместе по липучей, вязкой глине.

Летом я целые дни пропадал на реке, пристав к шумной ватаге таких же, как я, огольцов. Мы купались по десять раз на дню, ныряли под плоты, обследовали лодки, стоявшие под высокосвайными пристанями, собирали ракушки и мелкие камешки для рогаток.

Занятый всеми этими многосложными делами, я не очень внимательно прислушивался к надсадным песням коногонов, день-деньской копошившихся в зелёной глине. И всё же эти песни вошли в мою жизнь: ведь я слышал их и в восемь, и в девять, и в десять лет, и позже.

В двадцать три года случилось со мной одно примечательное событие, также связанное с песнями. Хотя и на этот раз дело происходило в Архангельске, но теперь я сидел уже не на плотах, а в партере городского театра, и пели песни не коногоны.

Пела сказительница Марья Дмитриевна Кривополенова. Её только недавно вывезла с далёкой Пинеги Ольга Озаровская, кочевавшая по глухим углам огромной - в три-четыре европейских государства - Архангельской губернии и очень много сделавшая для того, чтобы стали общенародным достоянием драгоценные песенные и сказочные клады русского Севера.

Как и где разыскала Озаровская Марью Дмитриевну, и как судьба свела их? Сама Озаровская в своей книге «Бабушкины старины» рассказывает об этом так: «Давным-давно в деревне Усть-Ежуга, при впадении реки Ежуги в Пинегу, стояла маленькая чёрная избушка. В ней семь голодных ртов… мать - работница неустанная, а с ней четверо ребятишек, да старая бабка, да огромный столетний дед… Мать оставит ребятишек в избе, уйдёт на работу, а дед с ними… Дед в молодости ходил по Зимним Кедам, бил морского зверя; оттуда вынес свои старины… И ребятишки пристают.

- Дедушко! Спой старину. Дедушко! Спой былину…

И «внялась» в эти старины одна крошечная Машутка, всё упомнила и пронесла сквозь скудную, тяжёлую жизнь… С десяти лет пришлось побираться, «ходить по кусочкам»… Пришли годы - выдали Машу замуж в деревню Шотогорку… муж пил, и на руку нечист был, и бродяжить любил… Дети умирали, мужа убили бродяги на дороге, осталась одна дочь.

Дочь вышла замуж в деревню Веегоры тоже бедно… И на старости лет с корзинкой в руках крошечная сморщенная Марьюшка бегает по деревням, собирает кусочки… Ночует где бог приведёт… И так до семидесяти двух лет, до чуда встречи с Московкой».

Московкой этой и была Ольга Озаровская. А встреча случилась летом 1915 года в деревне Великий Двор, в доме Прасковьи Андреевны Олькиной, которая, кстати, жива и сейчас и, хотя перебралась к дочери в Кировск, каждое лето приезжает в родную Пинегу. О встрече своей с Кривополеновой в Великом Дворе Озаровская рассказывает дальше: «Есть примета на Севере: если съешь у нищего от трёх кусков, будет тебе счастье.

Старая нищенка Марья Дмитриевна Кривополенова так сердечно угощала меня тёплыми, только что поданными в городе шанежками, что я незаметно для себя съела заветные три куска. И вышло счастье. Для нас обеих.

Нельзя было не полюбить бабушку с первой встречи. А когда рассыпала она перед нами свой старинный словесный жемчуг, ясно увидели мы, что перед нами настоящая артистка.

- Бабушка, поедем в Москву?

- Поедем!

Храбрая, как артист. Односельчане руками всплёскивали:

- Куда ты, бабка? Ведь помрёшь!

- А невелико у бабушки и костьё, надёйтся-де где место его закопать!

И поехала бабушка со мной в Москву. А в Москве не одной мне, а многим тысячам показала, какая она артистка. Маленькая, сухонькая, а дыханье, как у заправского певца. Три зуба во рту, - а произношенье четкое на диво!

Семьдесят два года, а огня, жизни - на зависть молодым!»

Таков рассказ Ольги Озаровской о своей встрече с Марьей Дмитриевной Кривополеновой. В Москве, куда привезла Озаровская свою подопечную, Кривополенова имела огромный успех. Москвичи были зачарованы её старинами, её пением, её редкостным сказительским талантом, её личностью. Они заласкали, задарили старую, звали снова гостить.

Гостьба эта была столь приятна для Кривополеновой, что уже в следующем, шестнадцатом году, старая, несмотря на свои годы и трудности пути с далёкой Пинеги, снова приехала в Москву.

А пять лет спустя, летом 1921 года, вызванная телеграммой наркома просвещения Советской России Луначарского из Веегор, где жила у дочери, Марья Дмитриевна приезжает в Москву в третий раз.

В этот свой приезд Кривополенова выступает перед делегатами третьего конгресса Коминтерна, выступает, как всегда, бесстрашно и с великолепным артистическим темпераментом. О том, как, в какой атмосфере проходили выступления Кривополеновой этим летом в Москве, свидетельствует очевидец одного из таких выступлений.

Очевидец этот - Василий Иванович Стирманов весьма примечателен и сам по себе. Это знаток Севера, энтузиаст северного краеведения, учитель, во время гражданской войны - начальник оперативной части штаба Пинежского участка фронта, сейчас заведующий Пинежскии филиалом Архангельского краеведческого музея. Он знал Кривополенову в детские свои годы, позже встречался с ней, и ему ведома жизнь Марьи Дмитриевны, вероятно, больше, чем кому бы то ни было другому. Вот что рассказывает он об одном из её московских выступлений: «Летом в 1921 году мне привелось быть в Москве. Смотрю, афиша: в зале консерватории выступает сказительница Кривополенова. С трудом достал билет на балкон. Наша Махонька - на столичной сцене! Махонькой звали Марью Дмитриевну в деревне за очень маленький рост, да и прозвище

это созвучно было её имени. Запела бабушка «Посеяли девки лён». А перед этим предупредив публику. «Как руцькой махну, платоцьком тряхну - всем припевать». Студенты консерватории подхватили припев дружно и слаженно.

По окончании концерта многие забрались на сцену. Как пушинку, подняли бабушку на руки, обнимали, целовали…»

Приведённое описание выступления Кривополеновой в Московской консерватории взято мной из книги В. Страхова «На лесной реке». А попала ко мне эта книга не случайно. В конце лета 1969 года я получил небольшой пакет, заключавший в себе газету «Пинежская правда». Я не подписчик этой газеты, выходящей в Карпогорском районе Архангельской области, но, получив газету, не удивился, так как в моей довольно большой почте частенько случаются сюрпризы, и по преимуществу приятные. И на этот раз сюрприз был приятен и даже вдвойне: во-первых, газета пришла с далёкого и милого мне Севера, а во-вторых, в ней был очерк, называвшийся «Встреча с Кривополеновой». В очерке цитировалась главка из моей книги «Сумка волшебника». Очерк подписан был В. Страховым. Я не знал Страхова, но был благодарен ему за то, что он напомнил мне о Марье Дмитриевне.

Так как на пакете, содержащем газету, значился обратный адрес приславшего её Страхова, то я написал ему, поблагодарил за неожиданное приятство, какое доставил он мне, прислав «Пинежскую правду», и просил сообщить мне, что знает он ещё о Кривополеновой, о её жизни. Написал я и редактору «Пинежской правды», обратив и в его адрес и благодарность и ту же просьбу.

Вскоре я получил и от редакции и от Виктора Евгеньевича Страхова ответы. В редакционном ответе было сказано о том, что Страхов является автором книги «На лесной реке», одна из глав которой посвящена Кривополеновой. Я попросил эту книгу у Виктора Евгеньевича и вскоре получил её вместе с обстоятельным письмом, содержащим много интересного и нового для меня из биографии чудной пинежской старицы. «Пинежская правда», в свою очередь, подослала мне номер газеты с новыми для меня материалами о Кривополеновой.

Редакция сообщала мне адрес Стирманова и советовала обратиться к нему за интересующими меня материалами о Кривополеновой.

Я написал в Пинегу Стирманову. Василий Иванович тотчас отозвался, и завязалась переписка. Длилась она, впрочем, недолго, так как месяца через полтора Стирманов оказался по делам в Ленинграде и навестил меня.

И вот мы сидим по обе стороны диванного столика, и Василий Иванович рассказывает мне о Кривополеновой, о тяжкой жизни пинежской нищенки.

Семья Стирмановых жила в той же деревне Веегоры, что и Кривополенова. Но та селилась на дальнем, нижнем краю, а Стирмановы - в самой середине деревни. Пока старая нищенка, собирая куски, добредала до центра Веегор, она уставала и у Стирмановых отдыхала, а частенько и на ночь оставалась.

Сердобольная хозяйка дома каждое утро выпекала по двадцати небольших хлебцев, чтобы подавать их захожим нищим и убогим.

Случалось, когда Махонька оставалась ночевать, Настасья Егоровна Стирманова посылала ребят по соседям звать их на посиделки.

Соберутся девки и бабы, сядут прясть. Выпросит себе прялку у хозяйки и Махонька, а то с вязаньем сядет. Вязала она очень сноровисто и красиво трехцветные рукавички или чулки. Вяжет и приговаривает:

- Хороший человек-от, видать, дан нать ему чулки связать.

Потом опустит работу на колени и станет старины и сказки сказывать и петь скоморошины.

Малый Вася Стирманов с жадным вниманием слушал Махоньку, и старины и сказки её запали ему в душу навечно. Шестьдесят лет спустя в Ленинграде, сидя напротив меня, Василий Иванович с яркой картинностью живописал мне обстановку, в какой это происходило. Описал худенькую малорослую, необычайно оживлённую Махоньку с торбочкой за плечами, пересказывал и её старины. Он и сам говорил сейчас, наверно, как Махонька говорила, окая по-пинежски и произнося как-то по-особому звук «ц».

Долго сидели мы с Василием Ивановичем в тот вечер, говоря о прошлом, о чудеснице Махоньке, дивясь и её таланту и тому, что любовь к ней и верность её памяти свела нас с разных концов страны.

Такими вот долгими, сложными, дальними путями, по которым вместе со мной шли многие добрые люди, собирался, копился материал этой главы, да и многих других также. Впрочем, что касается этой главы, то путь её ещё не окончен и не может быть ограничен сказанным, ибо в последнее время узнано мной кое-что новое, что может обогатить её.

Вот, к примеру, не так давно встретясь с Александром Антоновичем Морозовым, которого я давно знаю, мы разговорились о северных делах. Морозов хорошо знает Архангельск и Архангельскую область, живал там, написал прекрасную большую книгу о Ломоносове. В этот раз зашла у нас речь о Кривополеновой, и Александр Антонович упомянул о книге «М. Д. Кривополенова. Былины, скоморошины, сказки», которую он составил и редактировал. Я, к стыду своему, должен был сознаться, что как-то пропустил эту книгу и незнаком с ней.

После нашего разговора я постарался достать её. Она оказалась весьма примечательной. В ней собраны записанные от Кривополеновой шестнадцать былин и скомороший, три песни и шесть сказок. Книга оснащена прекрасным аппаратом и предварена отличной статьей Морозова.

Как раз в те же дни, то есть в июле 1971 года, я обнаружил в июльском номере журнала «Знание - сила» очерк Олега Ларина «Бабушка Марья Дмитриевна». Автор только что вернулся с Пинеги, побывал на могиле сказительницы в деревне Чакола и рассказал о своей поездке, о Кривополеновой, о встречах с людьми, её знавшими.

Несколько отрывков из этих двух новых для меня источников я дальше и привожу, включая и цитирование видных ученых, таких, как фольклористы Б. Соколов, А. Григорьев, и некоторых других лиц, встречавшихся с Кривополеновой и причастных к её судьбе.

Сперва обратимся к статье Морозова. Северный писатель и художник Степан Писахов рассказывал, что, вернувшись из своей поездки в Москву в 1915 году, Кривополенова, которую её

горячие московские поклонники задаривали и катали «в дорогих и мало ещё кому доступных автомобилях»; говорила на Пинеге с гордостью землякам:

- По Москве-то на бесконех ездила.

«…Всех, кто наблюдал в это время Кривополенову, поражала простота и естественность её обращения. Она всегда оставалась сама собой, и потому всё, что она ни делала, было всегда к месту. И вот рассказывают, что в Москве, когда она едва ли не впервые вышла на сцену, её не сразу приметили, и в публике долго ещё не затихал гомон, шарканье, рассаживание, взрывы скучающих аплодисментов. Тогда Марья Дмитриевна строго и без всякого стеснения сказала:

- Угомонитесь-ко».

А вот ещё одно свидетельство подобного же рода:

«…Удивительно держала себя Марья Дмитриевна в Москве; независимо, деликатно, ласково, - вспоминал впоследствии профессор Борис Матвеевич Соколов, - только при угощении она проявляла по деревенскому северному обычаю церемонность».

«…В Москве она как бы получила оправдание своим песням-старинам о славном прошлом своего народа. Всю жизнь на далёкой Пинеге пела о каменной Москве - и всё здесь нашлось.

- Уж правда, каменна Москва: дома каменны, земля каменна…

Она сама всё «выходила и высмотрела». Посетила Кремль и поглядела на гробницу Ивана Грозного, нашла даже могилу его жены Марьи Темрюковны, о свадьбе которой она пропевала весёлую скоморошину.

Старые камни словно оживали перед её глазами.

Каменный мост она называла Каликовым мостом и была убеждена, что, именно стоя на нем, кроткий царевич Федор Иванович промолвил:

А и много по этому мосту было хожено,

А и много-то было езжено,

Того больше крови пролито…

Она отыскала за Москвой-рекой дом Малюты Скуратова, топнула посреди улицы ногой и запела былину. Она была счастлива, что всё, о чём она пела, оказалось не «вракой», а правдой.

- Всё быль, всё своими глазами высмотрела…»

«…Вот ещё один рассказ о деревенской жизни Марьи Дмитриевны Кривополеновой: Марья Тихоновка (по мужу её так звали) часто у нас по Курги сбирала. И зимой приходила, и всяко. По недели жила у Першиных. Деревнюшка была хлебная, урожаи хорошие. Она и живёт, как придёт. Мы вот, ребятишки, и бегам. Перед домом на мурок седем. А она песни поёт. А то начнем звать;

- Пойдёшь, Машенька, по ягоды?

- Пойду.

И идёт с нами, малыми, по ягоды. На щелях мы брали. А она, как устанем, сядет и всё сказки нам рассказыват.

А как запоёт она небывальщину да неслыхальщину, как по синему морю Волынскому (Хвалынокому) всё жернова плывут, мы и кричим:

- Поди давай! Как жернова плывут? Ведь камень!

- Нет, - говорит, - плывут…

Тут смеху, и она с нами смеётся. Ласкова была до детей.

Много тогда она нам всего пела, да я не запомнила. Голос у неё был молодой. Нисколько не сменилсе».

Дед Кривополеновой Никифор Никитич Кабалин, от которого она переняла свои старины, и сама Марья Дмитриевна были не единственными в роду сказителями.

«…Былевая и сказочная традиции, по-видимому, были очень

сильны в семье Марьи Дмитриевны. «В молодости она пела старины вместе со своей младшей сестрой Марфой Дмитриевной, находящейся замужем в деревне Вихтове», - сообщает А.Д. Григорьев. Кажется, знал старины и родственник её по матери Онисим Ульянов (также из деревни Вихтово). Славился впоследствии, как сказочник, и младший брат ее Ф.Д. Кабалин».

После трехмесячной поездки в 1915 году в Москву и Петроград Марья Дмитриевна вернулась к себе на родину. Столичная слава опередила её. Именитые купцы и горожане Архангельска «чли» питерские и московские газеты и любили при случае показать, что они тоже не лыком шиты. Выслали за «бабушкой» через двинской лед парные сани с медвежьей полостью… Все наперебой спешат выразить «бабушке» своё внимание. Устраивают ей вечера и «концерты». Зазывают в гости… На Пинегу Марья Дмитриевна покатила в тёплых санях, «с провожатым и колоколом», словно должностное лицо.

«В городе Пинеге оторопевшие хозяева маленького домика, куда пускали иногда на ночлег старую нищенку, проводили бабушку в банк положить приобретенные за время поездки деньги - плату за выступления - почти две тысячи рублей.

Банковские чиновники тоже не могли в толк взять, «за что Москва деньги платит», как это неприглядная старушка отхватила такой куш. Они просят её спеть им старину. Но старуха поняла:

- Как сиротиною ходила - пела, не слушали. А как деньги вкладаю, любопытно стало! Недосуг петь. Домой попадать надо.

Так и не спела».

«…В 1916 году, великим постом, М.Д. Кривополенова снова приехала в Москву. На этот раз одна, без провожатых.

- Сама с дорогой управилась…

Она поселилась у Озаровской… Ей отвели маленькую отдельную комнату, залитую солнечным светом. Оставаясь наедине с собой, Кривополенова вязала пёстрые рукавицы и тихонько напевала старины. И вдруг засмеётся или заплачет, смотря по тому, о чём поётся в былине».

«…Она вообще была впечатлительна и восприимчива.

Представляя публике сказительницу и читая лекции о её творчестве, Озаровская всегда называла её просто «бабушкой». И в Москве у Кривополеновой вдруг появилось обыкновение говорить о себе в третьем лице и называть себя «бабушкой».

Как-то в 1916 году сотрудница Озаровской и спутница в её фольклористических поездках Александра Петровна Соколова ехала с Кривополеновой в трамвае. Всё обращали внимание на пёстрые пинежские варежки сказительницы. Та лукаво улыбнулась и, ни к кому, собственно, не обращаясь, сказала:

- А рукавички-то бабушка сама связала».

«… В Харькове ни на лошадях не ездила, ни ногами не хаживала. Носком носили…» - говорила Марья Дмитриевна, вернувшись в родные края после большой поездки по югу России.

Я уже рассказывал о том, что в 1921 году Кривополенова была вызвана Луначарским в Москву. История этой последней поездки Марьи Дмитриевны в столицу стоит того, чтобы на ней остановиться подробней. Когда возникла идея пригласить Кривополенову в Москву для участия в концерте в день открытия третьего конгресса Коминтерна, «в Архангельский губисполком была послана телеграмма за подписью А.В. Луначарского: не согласится ли бабушка Кривополенова выехать в Москву? За сказительницей было решено послать специального человека, который бы заботился о ней в дороге. Луначарскому рекомендовали совсем молоденькую студентку Анну Ипполитову.

Луначарский покосился на хрупкую девушку и, улыбаясь, спросил:

- А вы не боитесь ехать в такую даль? Там белые медведи и болота.

- Дайте мне в дорогу пуд махорки, - ответила практичная студентка.

Девушку снабдили махоркой и выдали внушительный мандат, в котором сообщалось, что Ипполитова «срочно командируется в Пинегу Архангельской губернии за сказительницей бабушкой Кривополеновой…» Но когда Ипполитова, вооруженная этим мандатом с подписью Луначарского, отправилась оформлять проездные документы,

поглядев на этот мандат, ей возвратили его обратно:

- Поездка за бабушкой - дело семейное. Билет выдать не можем.

Не получив билета, Ипполитова вернулась в Наркомпрос… В Наркомпросе Луначарский на своем личном бланке написал:

Разъяснение

С поездкой т. Ипполитовой за бабушкой Кривополеновой вышло недоразумение. Командировку посчитали за частное дело, между тем как она делается по специальному решению Совета Народных Комиссаров, постановившего бабушку Кривополенову в возможно комфортабельных условиях перевезти в Москву, дать ей академический паёк и весьма повышенное денежное содержание и вообще обеспечить остаток её дней.

Дело это считается государственно важным, и я прошу командировку считать одной из первоочередных.

Нарком по просвещению **А. Луначарский.**

- Да. Да. Пусть знают, что это уже не простоя бабушка, а государственная бабушка, - говорил с присущим ему добродушным юмором Анатолий Васильевич. - Кривополенова - такое же наше достояние, как наши классики, как наши произведения искусства. Она живой памятник народной культуры.

Ипполитова покатила в Архангельск, а оттуда, при содействии губисполкома, отправилась на Пинегу».

С лёгкой руки Луначарского Марью Дмитриевну стали частенько называть «государственной бабушкой». И это соответствовало истинному положению вещей. Сама Кривополенова сознавала себя именно государственным человеком, в чём я убедился во время разговора с ней. Но об этом разговоре несколько позже, а сейчас мне бы хотелось продемонстрировать одну жанровую картинку, характеризующую взаимоотношения наркома и пинежской старушки.

Приехав в последний раз в Москву, «…с нетерпением ожидала Кривополенова встречи с Луначарским. Но он не сразу смог к ней приехать. И бабушка на него дулась. А когда он всё же

приехал к ней в гости и бабушку пошли звать, то она ответила:

- Я ещё чулок не довязала.

Пошли звать второй раз:

- Когда будет пора, приду. Я дольше ждала.

И дождавшись третьего приглашения, вышла строгая и поклонилась в пояс.

Но вскоре бабушка разошлась - пела песни и сказывала сказки. Исполнила даже редкую былину «Вавило и скоморохи». Луначарский засиделся до поздней ночи. А на прощанье сказал:

- А теперь, бабушка, приезжай к нам в гости в Кремль…

После его отъезда Кривополенова сказала:

- Человек, видать, хороший. Нать ему рукавички связать. - И принялась за трёхцветные пинежские рукавицы.

Вскоре Луначарский приехал за ней на машине и отвез к себе домой обедать. На столе стояли пироги и вино.

- Ну как, бабушка, выпьем?

- У тебя в гостях быть - да вина не пить! - сказала бабушка и выпила рюмку.

Заметив на стене портрет балерины Айседоры Дункан, она сказала, обращаясь к хозяину:

- Батюшка, хоть в гостях воля не своя, а ты поверни-ко эту стыдобу. Мне не смотреть…

Луначарский покорно завесил портрет газетой».

В заключение - два эпизода из очерка Олега Ларина, о котором я уже упоминал:

«…Время сделало своё дело. Всё трудней и трудней давались Кривополеновой выступления в больших залах. У неё опадал голос, и она стала хуже слышать. Однажды, устав от длинной

старины, она громко позвала сидящую в зале Ипполитову:

- Анюткоу, иди пособляй, у меня голосу не хватат».

Когда очеркист Ларин приехал в Чаколу, чтобы поклониться праху сказительницы, его провожала на кладбище старая крестьянка Анисимова. На обратном пути очеркист спросил у неё, помнит ли она Марью Дмитриевну.

«Махоню-ту? - живо откликнулась Анисимова. - Как не помнить-то? В Веегорах она жила. Во-он Веегоры-то. - Она рукой показала на противоположный берег Пинеги… - Чисто место, далеко видко - версты на две. А мы, ребятишки, ждём, высматриваем. А она идёт оттуда. Снежком похрустывает, тропку прокладывает. Маленька така, худошшава, а колобком катитсе… У нас шуму-то, радости: ведь видко, всё видко! Мы с горы - и к ней. Кто на санках, кто на чём. «Бабушка, - кричим, - давай старинку сказывай». Она тут зарадуется заразговариват. Говоркая была старушка. Пела, как с полки брала, и всё разно… Она нам и «Вавилу» сказывала и «Соловья Будимировича». А о князе Романе ведёт, как он жену терял, - дак плачот, и мы плачом».

Однако достаточно ссылок на чужие глаза и уши. Порч обратиться к своим и рассказать о встрече моей с Марьей Дмитриевной Кривополеновой. Но прежде всё-таки ещё несколько о том, что предшествовало этой встрече. Кривополенова, как уже было сказано, с пятнадцатого по двадцать первый год трижды побывала в Москве. Но дело не ограничилось Москвой. Она была и в Петрограде, в Твери, Саратове, Харькове, Екатеринославе. Выступала она в научных учреждениях, в школах, вузах, театральных залах. Выступала перед учеными специалистами, перед детьми, рабочими, писателями, художниками. И в любой аудитории, в любом городе реакция слушателей была восторженной.

Из Москвы в конце лета двадцать первого года Марья Дмитриевна возвратилась со славой блистательной сказительницы, и старость её была обеспечена. Но сама она не изменилась. И из Москвы поехала опять к себе на Пинегу, хотя ей предлагали остаться навсегда в столице, давая квартиру и секретаря.

По дороге домой Марья Дмитриевна на несколько дней остановилась в Архангельске. Здесь мне и довелось слушать её.

Было ей тогда уже около восьмидесяти лет. Тем не менее голос у неё был гибок и звонок, и, как мне показалось, даже звончей, чем у двух девушек-подпевал, хотя каждая из них была вчетверо моложе Марьи Дмитриевны.

Пела старуха удивительно, передать невозможно, как пела. При этом она владела залом совершенно, распоряжаясь им властно и уверенно, то понуждая всех подпевать себе, то заставляя смолкнуть и заворожённо затаить дыхание.

Память этой неграмотной старухи была поражающе обширна и точна на удивленье. От неё записали много текстов, иные из которых были очень редки. Кстати, о точности памяти старой сказительницы - именно эти редкие и старые былины она воспроизводила всегда в одной и той же редакции, повторяя всю былину слово в слово всякий раз, когда её исполняла.

Счастливая для меня встреча длилась часа три, и в эти кратчайшие часы я впервые и навсегда понял, что такое русская стародавняя песня, в которой выпевались все горести и радости народа-великана, что такое героическая былина, о которой так скучно и казенно говорили нам в школе.

После выступления Кривополеновой я говорил с ней, и старая покорила меня во второй раз в этот вечер родниковой чистотой души. Она показывала большую медаль Географического общества, выданную ей в Москве. Медаль бережно хранилась ею на груди на одном гайтане с нательным крестом, но в отдельной, сшитой для того ладанке.

Глядя мне в глаза своими удивительно светлыми глазами, Марья Дмитриевна рассказывала с доверчивой радостью и простодушной гордостью, как была в Москве, как сидела у Луначарского (она произносила Лунацярського). При этом она убеждена была, что нарком вызвал её в Москву не только из-за песен и старин, но и затем, чтобы посоветоваться с ней, «как осударсьвом править».

Я слушал её и не улыбался этим наивным словам. Впрочем, так ли уж наивны они были? Наивный простак Иванушка в старых сказках под конец торжественно вступал в стольный град, получал во владение целое царство и оказывался на поверку вовсе не простаком. Что же странного было в том, что теперь и сама сказочница заступила его место, что и её вот позвали по

государственным делам в столицу. Недаром же член правительства Луначарский назвал Кривополенову «государственной бабушкой».

Я стоял перед сухонькой маленькой старушкой в старинном поморском повойнике и в платочке поверх него, повязанном под подбородком вековечным бабьим узлом. Я смотрел в её изрезанное морщинами, дублёное временем лицо и не мог наглядеться. Лицо поражало внутренней оживлённостью черт и простодушной ясностью. И мне очень захотелось вылепить это лицо, чтобы я мог всегда глядеть в него. Я увлекался тогда лепкой и в тот же день притащил с берега ведро тяжёлой зелёной глины, той самой, что замешена была натруженными ногами коногонов. Из этой глины я и принялся лепить голову Кривополеновой.

Работал я с чрезвычайным увлечением и непреходящим усердием. И сейчас, полстолетие спустя, они живо чувствуются мной и проникают в сегодняшнюю мою работу. И это мне важно.

Однажды, лет двадцать тому назад, будучи в Москве и зайдя, по обыкновению, в Третьяковскую галерею, я неожиданно для себя увидел знакомое лицо, глядящее на меня столь памятным мне, простодушным ясным взглядом. Это была встреча с ожившей передо мной стародавней стариной и одновременно с собственной молодостью. Не знаю, сколько времени стоял я перед превосходным «Портретом сказительницы Кривополеновой», созданным колдовскими руками Сергея Коненкова. Портрет сделан в 1916 году, то есть за пять лет до того, как мне довелось увидеть и услышать эту удивительную старуху. Вырезанная из дерева голова сказительницы чрезвычайно выразительна, и, глядя на неё, понимаешь, как мудро и находчиво поступил скульптор, избрав материалом для этой работы именно дерево. Морщины этого выдубленного годами, старого лица, став древесными морщинами, так же чудно выразили материал, как сам материал помог скульптору выразить простодушную мудрость ясных глаз сказительницы и очертить высокий крепкий лоб, за которым таятся незримо сокровища старин, скоморошин, былин и волшебных сказок.

Само собой разумеется, моя голова Кривополеновой не могла идти ни в какое сравнение с чудесной скульптурой чудесного мастера. Мой скульптурный портрет Марьи Дмитриевны был работой совершенно дилетантской, ученически слабой. И всё же работа эта была мне в те годы нужна и многое важное сделала

тогда во мне.

Долго стояла на моём рабочем столе голова в старинном повойнике и смотрела неотрывно, как я писал свои первые рассказы.

Спасибо ей за напутствие в науку делать чувства, мысли, образы материалом своего труда.

Спасибо и глине - той тяжкой и трудной глине. И она учила труду, из которого рождаются песни.

БЫСТРИНА НА ДВИНЕ

Закадычный мой друг Санька Шандырев вырос, как и я, в Архангельске, у полноводной, могучей Северной Двины. Архангельские мальчишки, проводившие всё лето на реке, одержимы были обширными планами по части завоевания господства над извечной стихией воды. Планы эти не были закостенелыми. Они постоянно менялись, так как росли вместе с теми, кто был ими одержим.

Первые мечты рождались в тёплой золотистой водице между берегом и стоявшими вдоль него плотами. Здесь, в затоне, на мели купалась мелюзга, ещё не умевшая плавать. Вожделенной мечтой каждого из этих водяных несмышлёнышей было оказаться однажды по ту сторону плотов, на открытой воде, где простор, глубина, чернота и быстрина. Броситься в эту темную глубь и плавать в ней - значило стать мужчиной.

Эта первая мечта сбывалась обычно годам к восьми-девяти, и её сменяла более высокая мечта о полной свободе действий на воде. Свобода эта заключалась в том, чтобы плавать в любую погоду и при любых обстоятельствах - в осенний холод, в сильный прилив, против волны и ветра, в бурю и непогоду. Кроме того, неписаный закон чести пловца запрещал входить в воду постепенно. Следовало только бросаться в неё, предпочтительней вниз головой, и не только с плотов, но и с лодок, пароходов, если выдавался такой случай, и уж, конечно, со свайной пристани, высившейся над водой во время сильного отлива метра на три-четыре. Обязательным также считалось искусство ныряния под лодки и плоты, а кроме того, доставание со дна на глубоком месте комка глины, горсти ила, а то и нарочно брошенной железяки.

Когда десятилетний или одиннадцатилетний стажёр неофициально существовавшего на плотах клуба вольных пловцов достигал свободы действий и отличного самочувствия на воде и под водой, он начинал помышлять о том, чтобы сплавать «на бакан». Бакены, размечавшие фарватер для океанских пароходов, стояли на самой глубине посредине реки: первый ряд - метрах в трёхстах от берега, второй - метрах в пятистах. Таким образом, до ближних бакенов в оба конца нужно было проплыть при сильном течении по холодной глубокой воде метров шестьсот, а до дальних - и весь километр. Отдыхать по пути было негде, и

сплавать на бакен, особенно на дальний, для подростка было делом не простым.

Но и это было не пределом мечтаний для архангелогородских мальчишек. Высшим отличием для них, как и для всякого в городе пловца, считалось - сплавать через реку, и, конечно, обязательно в самом широком месте: от Соборной пристани до Кегострова, который виднелся с городского берега узкой полоской и до которого было более полутора километров.

Плывя к Кегострову, приходилось проделать в оба конца больше трёх километров, а на Северной Двине, близ впадения её в Белое море, при сильном течении, которое менялось каждые шесть часов, в зависимости от приливной волны с моря или отлива, эти три километра оборачивались иной раз и шестью.

Трудные условия плаванья в холодной двинской воде наперерез сильному течению были хорошо известны архангелогородцам, и потому отваживающиеся плавать за реку объявлялись довольно редко. Но тем приманчивей казалось это трудное предприятие, и тем жарче мечтал о нём всякий из мальчишек.

Мечтали, конечно, об этом и мы с Санькой Шандырёвым, мечтали давно и горячо. При этом, надо сказать, что хотя мы были дружны и неразлучны, всё же каждому хотелось опередить другого в осуществлении заветной мечты. Справедливости ради, должен признать, что первым, решившим осуществить дерзкий наш замысел, был не я, а Санька. Он вообще был коноводом на нашем дворе; к тому же ему исполнилось уже пятнадцать лет, в то время как мне только-только пошёл тринадцатый. Одним словом, Санька опередил-таки меня в этой гонке честолюбий, заявив однажды:

- Завтрашний день в Кегостров сплаваю, вот и всё.

Для успеха задуманного предприятия прежде всего нужна была лодка, которая сопровождала бы пловца и в которой находился бы свидетель и контролёр проплыва. Санька гордо заявил, что он добудет лодку.

И, действительно, назавтра под вечер Санька, как было заранее условлено, привёл к Соборной пристани чью-то довольно тяжёлую шлюпку. Что касается наблюдателя и контролёра, то,

само собой разумеется, им не мог быть никто другой, кроме меня.

И вот я сел в лодку, оттолкнулся веслом от каменной стенки Соборной пристани, Санька кинулся с высокой пристани вниз головой в воду, и знаменитый проплыв начался.

В первые четверть часа всё шло без особых затруднений и неприятностей. Я усердно орудовал в тяжёлой шлюпке большими, не по моему росту, вёслами, Санька ещё усердней загребал руками и ногами, и мы, хотя и не слишком быстро, продвигались вперёд.

Скоро, однако, выяснилось, что наше ответственное предприятие обдумано и подготовлено без должной основательности, и командором проплыва, сиречь Санькой Шандырёвым, многое в его организации оказалось неучтённым и непредусмотренным.

В частности, вскоре стало очевидным, что день и час проплыва выбран весьма неудачно. Был конец августа, и погода стояла хмурая, ветреная. Ветер, правда, был не очень силён, но и малая волна мешала спокойному плаванью. Предсентябрьские вечера в Архангельске холодны, да и вода не прогревается за день, как это бывает в летние знойные дни. Санька, как видно, не сумел раздобыть лодку раньше и пригнал её к пристани только под вечер. Таким образом, проплыв начался по вечернему холодку в холодной воде и к тому же в сильный прилив.

В первые минуты близ берега это не имело особого значения и не ощущалось нами, как существенное препятствие, но, когда мы стали приближаться к бакенам, трудности плавания в таких условиях стали ощутимы.

Особенно досаждало нам сильное течение, наперерез которому нам приходилось держать курс, чтобы Саньку не слишком сносило. Я с трудом управлялся со своей тяжёлой шлюпкой, и, несмотря на вечерний холодок, меня уже через десять минут прошиб пот.

Саньке приходилось ещё трудней. Впрочем, ни я, ни даже он не представляли себе, как велики наши затруднения, до тех пор, пока мы за дальними бакенами не приблизились к железной барже-шаланде. Чем-то тяжело гружённая, она стояла на носовом якоре, в струнку вытянувшись кормой по течению. Наш курс как

раз пересекал её посредине, и, чтобы Саньку не снесло, он решил оплыть баржу с носа. Поравнявшись с серединой баржи, он круто забрал прямо против течения к носу её. Я повернул следом за ним, и вот тут-то впервые я и узнал по-настоящему, что значит двинская быстрина в сильный прилив на фарватере.

Посредине баржи на борту её был нарисован белый кружок, пересечённый параллельно поверхности воды красной чертой. Так обозначалась на судах ватерлиния, то есть предельная граница осадки судна под грузом.

И Санька и моя шлюпка находились как раз напротив этого знака, и оба мы изо всех сил старались оторваться от него и продвинуться к носу баржи. Мне это ценой огромных усилий удавалось, но с Санькой дело обстояло хуже. Я видел, как он силился сдвинуться с места, но двигался только в те мгновенья, в которые длился гребок. Пока же, плывя, как всегда, на боку, он заносил руки вперёд для нового гребка, течение относило его назад, и Санька оказывался снова в исходном положении напротив белого кружка на борту баржи, пересечённого красной чертой. Потом всё повторялось в том же порядке: гребок - движение вперёд, занос рук для нового гребка - движение назад к белому кружку и красной линии.

Бесплодность Санькиных усилий стала очевидна уже через минуту, но Санька не желал сдаваться. Он был упрям, как чёрт, и ни за что на свете не хотел признать себя побеждённым. Раз он поставил себе целью обогнуть баржу с носа, он должен это сделать. Он работал руками и ногами сильно, резко, ритмично, вкладывая в каждый гребок, в каждое движение всю силу своего жилистого, мальчишеского, упрямого тела. Но силы этой явно не хватало для того, чтобы одолеть быстрину, в которой он бился. Сила реки оказалась сильней Санькиной силы.

Санька долго не хотел, однако, сдаваться. Он всё выгребал и выгребал уставшими руками, рвался вперёд, напрягался, как мог, но все его усилия ни к чему не приводили. Белый кружок и пересекавшая его красная черта всё были в поле его зрения, сдвигаясь то назад, то вперёд и каждый раз возвращаясь на прежнее место.

Я видел, что Санька выбивается из сил, и кричал ему:

- Сань! Брось. Валяй с кормы оплывай.

Крича так, я ослабил гребки и мгновенно очутился у кормы баржи. Спохватясь, я снова налег на весла и, с трудом удерживая лодку на одном месте, стал кричать, чтобы Санька оплывал баржу с кормы. Но Санька всё упорствовал, всё бился в чёрной, холодной, злой воде.

Не могу сказать, сколько времени длилась эта изнурительная и бесплодная борьба, но кончилась она довольно неожиданно. Сидя в своей лодке, я вдруг увидел, что Санька как-то вразнобой болтает руками и ногами и медленно погружается в воду.

- Сань, - завопил я что было сил. - Сань, ты что? Сань!

Санька заработал руками сильней и всплыл на поверхность. Его мгновенно снесло к корме баржи и ударило о мою лодку. Я оставил вёсла и, перегнувшись через борт, сунулся обеими руками в воду, чтобы схватить Саньку. Но он сам судорожно ухватил меня за рукав куртки, и я, не удержав равновесия, вывалился из лодки в воду. По счастью, я успел ухватиться одной рукой за уключину, и это спасло нас обоих. Окажись мы в подобных обстоятельствах без лодки, не знаю, чем бы окончилось наше приключение. Но лодка была при нас, и мы цеплялись за её борт всеми четырьмя.

Кое-как я взобрался в лодку и помог взобраться вконец измочаленному Саньке. Дрожа всем телом, он трясущимися руками принялся растирать левую ногу ниже колена.

- Холодна больно вода, - выговорил он наконец, стуча зубами. - Судорога забрала. А то бы я враз…

Даже в столь незавидном и невёселом положении Санька Шандырёв оставался Санькой Шандырёвым и не мог удержаться от похвальбы. Но разговаривать долго было ему, как видно, невмочь. От холода у него зуб на зуб не попадал, и, торопливо натянув на себя рубаху и штаны, он схватился за вёсла. Потом поглядел в сторону далёкого кегостровского берега и сказал зло:

- Ни черта. Всё одно к Кегострову сплаваю…

И сплавал. Но об этом рассказ особый. Скажу только, что при новой попытке мы были умней и выбрали время между приливом и отливом, которое архангелогородцы называют манихой. При

манихе течение на реке очень слабое, и плыть в это время значительно легче.

Кое-чему, как видите, быстрина нас научила. И за науку эту мы заплатили не так уж дорого. Могли бы поплатиться гораздо жёстче. Северная Двина - река серьёзная, и с ней на «ты» обращаться нельзя.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛОДКА

Лодок перебывало у нас много. Я и мои старшие братья выросли в Архангельске на берегу Северной Двины и каждую свободную минуту проводили на воде. Каждое лето мы в складчину с ближайшими соседями и приятелями братьев покупали лодку, шпаклевали её, смолили, красили и спускали на воду. Лето она стояла у одной из архангельских пристаней, и мы каждый вечер совершали большие поездки. Осенью мы вытаскивали её из воды и либо привозили на двор, либо продавали. Ещё чаще её у нас крали. С последней моей лодкой случилось то же, но при обстоятельствах чрезвычайных, о которых стоит рассказать.

В то лето я работал на острове Зеленец, разгружая и нагружая баржи. Зеленец лежал в морском рукаве, довольно далеко от города, и попадать туда было нелегко. Надо было сперва переехать на пароходике к вокзалу, лежащему на левом берегу реки, и уже оттуда пройти километров пять берегом до Зеленца, на который в отлив можно было попасть посуху. Вечером после работы приходилось проделывать этот путь в обратном направлении. Всё это было сложно и хлопотно, съедало много времени, и в конце концов я решил приобрести лодку, чтобы в ней и ездить на работу.

Так я и сделал. На лодке я попадал на работу более коротким путём. Но путь этот был нелёгок. Чтобы поспеть на работу к шести часам утра, мне приходилось вставать в четыре. Сонный, я брёл через весь город к пристани и садился в лодку. Часа полтора грёб до Зеленца и попадал как раз к началу работы. Окончив рабочий день, опять садился в лодку и через полтора часа был у городского берега. Добравшись до дому, я ужинал, без сил валился в постель и засыпал до четырех часов утра.

Так прожил я это трудное лето и к осени, окончательно изведясь, бросил работу на Зеленце. Что касается лодки, то до поры до времени я оставил её на острове.

Время шло. С каждым днём становилось холоднее. Надвигалось время штормов. Дотянув до последнего, в октябре я собрался, наконец, ехать за лодкой, чтобы перегнать её в город. Был ветреный день. Я доехал до вокзала на пароходе и оттуда прошагал пешком до Зеленца. Лодка оказалась на месте, но была

наполовину залита водой. Очевидно, она дала течь. Надо было срочно переправить её в город и вытащить на берег.

Я вычерпал воду найденной тут же большой консервной банкой, принёс спрятанные вёсла и руль и собрался ехать. Но одному ехать не хотелось. Когда едешь в лодке один, то, сидя на вёслах, приходится постоянно оборачиваться через плечо, чтобы держать верное направление. На Северной Двине течение очень быстрое, и это делает греблю в одиночку ещё более трудной. Лодку сносит течением, и надо всё время подправлять курс.

Я стал искать попутчика, чтобы посадить его на руль и грести спокойно. Но в воскресный день Зеленец становился почти необитаемым. Рабочие расходились и разъезжались по домам. Оставались только сторожа при бараках и складах.

Долго бродил я по острову, прежде чем нашёл, наконец, попутчика. Это оказался длинноусый флегматичный дядя лет пятидесяти со странной фамилией Паук. Выглядел он мешковатым, неуклюжим, и видно было, что он к реке непривычен и мало разбирается в делах мореходных. Ни грести, ни править он не умел. Помощник был явно плох, но у меня не было выбора. Я посадил его на корму, объяснил, как управляться с рулём, и сказал, что по ходу дела буду давать самые подробные указания.

- Ну и ладно, - сказал добродушно мой мешковатый попутчик. - Тогда поехали.

И мы поехали. Погода стояла мерзейшая. В лицо бил холодный порывистый ветер. Холод меня не смущал: сидя на вёслах, поневоле согреешься. Хуже было то, что крепчавший ветер развёл большую волну. Надвигался шторм. На Северной Двине при быстром её течении и полуторакилометровой ширине разгулявшийся ветер - вещь неприятная и небезопасная.

На этот раз шторм был не так силён, но если учесть, что моя лодка была тяжеловата на ходу, что я был единственным гребцом и грести против тяжелой волны надо было по меньшей мере полтора часа, то положение моё следовало признать незавидным.

Я сказал - полтора часа, но за полтора часа я выгреб в шторм меньше половины пути. А впереди предстояла самая трудная его часть, так как я приближался к выходу на двинской простор, где

волна была в два раза сильнее, чем в рукаве, которым я шёл до сих пор.

Я измотался за эти трудные полтора часа, но об отдыхе не могло быть и речи. Паук не мог сменить меня на вёслах, а с каждой минутой грести против крутой волны становилось всё труднее. К тому же неудачи, начавшиеся с никудышного спутника, не прекращались. В самый ответственный момент обнаружилось, что лодка течёт так сильно, что надо непрерывно откачивать воду. Я нашёл дыру в днище и заткнул её носовым платком, но это не слишком помогало делу.

Тогда я велел Пауку оставить руль и переключиться целиком на откачку воды. Он принялся за дело хотя и не умело, но старательно. Черпака не было. Его заменяла консервная банка, хоть и довольно большая, но явно недостаточная для откачки воды при такой серьёзной течи. Паук работал, как мог, но вода хоть и понемногу, а прибывала. Скоро стало жарко и Пауку. Подняв голову и не переставая работать своей банкой, он впервые спросил с тревогой:

- Слушай, друг, а как оно, этого, доплывем мы с тобой?

Мне ничего не оставалось, как ответить бодрым голосом:

- Доплывём.

Но плыть было всё труднее. Лодку начало пошвыривать волной очень резко, и выгребать против такой волны становилось невмоготу. Если бы Паук спросил меня ещё раз, доплывём ли мы, я, пожалуй, не знал бы, что ему ответить. Я нажимал на вёсла из последних сил, но сил оставалось уже немного.

Трудно было в таких условиях ожидать чего-либо хорошего, но то, что случилось через два с половиной часа после отплытия нашего с Зеленца, было совсем скверно. Пытаясь выгребать против большой волны, я так нажимал на вёсла, что одно из них не выдержало и сломилось у самой уключины.

- Ну вот и приехали, - сказал я, глядя вслед уплывающей половине весла.

- Ага, - отозвался мой Паук довольно спокойно, и я впервые подумал, что всё-таки мне повезло на спутника в этом

путешествии.

Мне не пришлось ни успокаивать его, ни призывать к порядку. Он продолжал орудовать банкой, выкачивая из лодки воду, и, видимо, не был обескуражен нашими приключениями. Я уже с удовольствием глядел на моего сотоварища, и длинноусое добродушное лицо его вовсе не казалось мне теперь, как это было в начале знакомства, невыразительным и равнодушным. Он все-таки был молодец, этот Паук. Промокшие, охолодавшие, усталые и голодные, мотались мы теперь по воле волн, не зная, что будет с нами в следующую минуту, но Паук мой не исторгал ни жалоб, ни стонов.

Должно быть, в воздаяние за доброе поведение и долготерпение нас в конце концов вынесло прибойной волной на мелкую косу какого-то островка. Мы тотчас выпрыгнули через борт в воду и подтащили лодку к берегу. Под конец нашей нелегкой операции хорошая волна так поддала в корму лодки, что залила её почти целиком. Эта же волна и нас окатила, да к тому же свалила с ног.

Это было нам, так сказать, на закуску и, как это ни странно, вызвало дружный смех. Но в общем было, конечно, не до смеху. Островок, к которому нас прибило, был пустынен. Как с него выбраться, мы понятия не имели. Впереди не виделось для нас ничего доброго. У нас не было с собой ни еды, ни сухой одежды, никакой защиты от холода.

Что можно было в таких обстоятельствах предпринять? Прежде всего надо было осмотреть островок, на который мы попали. Мы вытащили лодку как только могли далеко на берег и побрели куда глаза глядят. Остров изгибался дугой, и за поворотом дуги мы, к великому нашему удовольствию, увидели двух людей в высоких сапогах-бахилах. У одного из них был в руках багор, у другого - топор. Они стояли у кромки воды и вытягивали к ногам своим бившиеся у берега брёвна. Неподалеку стояла лодка.

Мы пошли к лодке. Хозяева её увидели нас. Один из них - тот, что с багром, остался при лодке; другой, держа топор в правой руке, сделал несколько шагов в нашу сторону и остановился. Вид у него был неприветливый и даже угрожающий. По-видимому, ничего хорошего от нас он не ждал и всем своим видом старался показать, что и от него ничего хорошего нам

ждать не следует. Если прибавить к этому, что дядя с топором был могучего сложения и на голову выше каждого из нас и что мы не имели с собой не только топора, но и перочинного ножа, то станет понятным, что мы, хотя и очень нуждались в помощи, приближались к нему с некоторой опаской.

На поверку оказалось, что дядя с топором опасался нас больше, чем мы его. Дело в том, что штормом разбило плоты на реке, и брёвна прибивало к пустынному острову, к которому вынесло и нас с Пауком. Как всегда в таких случаях, крестьяне окрестных деревень выезжают промышлять даровой лес. Они охотятся за брёвнами и заготовляют себе первоклассный лес за счёт английского короля, как говорили в те времена. Двух таких речных браконьеров мы с Пауком и повстречали.

Как вскоре выяснилось, сговориться с ними не представляет никаких трудностей, и они взялись доставить нас на своей лодке на соседний Кегостров, откуда в Архангельск регулярно ходили пригородные пароходы. Спустя полчаса, привязав к корме Лодки четыре бревна и прихватив нас с собой, они поплыли к Кегострову. Там мы с Пауком сели на пароход и к вечеру добрались наконец до города.

Вот, пожалуй, и всё, что можно рассказать об этом штормовом походе на моей последней лодке. Да, она была последней, и больше я её не видал. Когда спустя неделю, одолжив ялик у одного из своих приятелей, я отправился за лодкой, её не оказалось там, где я её оставил.

ОНИ УЧИЛИ ПРЕКРАСНОМУ

В субботу вечером я и мои братья собираемся на лодке за реку. Братья забирают вёсла, уключины, руль и румпель, я - закоптелый жестяной чайник с помятыми боками, набив его предварительно картошкой доверху.

На пристани нас ждут Вася Виноградов и две его приятельницы - Маша Серебренникова и Маша Калинина. Чаще всего их зовут Маша большая и Маша маленькая. Маша большая - высока, голубоглаза, добра и медлительна. Маша маленькая - густоброва, подвижна, смешлива и голосиста. И сейчас, усаживаясь в лодку, она что-то напевает, успевая одновременно перекликаться с Машей большой и браниться с Васей Виноградовым.

Под её пение мы отходим от пристани и идём наперерез течению к левому берегу. Спустя сорок минут мы входим в устье Заостровки - малой речушки, впадающей против города в Северную Двину. Пройдя вверх по Заостровке версты полторы, мы пристаём к берегу.

И вот на невысоком береговом угоре зажжён костёр, и над ним висит чайник. Он пыхтит, старается вскипеть поскорее. И это ему удаётся. Мы пьём чай, а позже, когда костёр прогорает, мы печём в золе картошку. Потом играем в горелки, поём песни, хохочем, валяемся на траве. Перед отъездом идём рвать цветы. Ходить далеко не надо. Неоглядные луга начинаются тут же, у берега. На них великое множество цветов. Мы не делаем букетов. Мы просто рвём цветы и сносим их в лодку. Вскоре мы трогаемся в обратный путь.

Спускаясь по Заостровке к Двине, мы затихаем. На востоке уже занимается розовоперая заря. Тишина. Дремотно никнут к воде прибрежные ивы. Выезжаем из узкой Заостровки на полуторавёрстный раскат Двины. Она лежит перед нами - огромная, полноводная, могучая. Тихая тяжёлая вода чуть золотеет под первыми лучами солнца. Стеклянно звенят водяные капли, скатываясь с лопастей вёсел в реку.

Пристав к берегу, мы несём через весь город охапки цветов. Улицы сонны и пустынны. Мы приходим в дом и сваливаем цветы ворохами на столы, на плиту.

Разбуженная шумом мать поднимается с постели и всплёскивает руками:

- Боже, сколько цветов!

Пять часов утра. Мы идём спать. Мать остается одна. Она уже не ложится больше. Она садится и начинает разбирать цветы. Моя старая кровать, сколоченная из простых еловых досок, стоит в кухне, и, укладываясь на неё, я слежу за матерью. Она напевает, перебирая тонкие цветочные стебли. Голос у нее слабый и дрожащий. Он мне бесконечно приятен. Это голос моего детства. Этим голосом спеты все мои колыбельные.

Мать сидит среди цветов, и это доставляет мне наслаждение. Среди них она совсем иная, чем тогда, когда сидит за работой. Целые дни она сидит за работой. Она модистка. Она шьёт дамские шляпки. Хозяйка магазина, на которую она работает, придирчива, груба, скупа. Часто она доводит мать до слёз. Я ненавижу эту толстую крикливую хозяйку. Для меня она воплощение непонятных мне злых сил, имеющих над матерью и надо мной какую-то давящую власть. Часто за работой, украшая шляпки, мать держит в руках маленькие пучочки цветов. Мода требовала именно цветов на шляпках. Но те цветы из шелка были совсем другими цветами. Они не такие, какие мать держит в руках сейчас. Держа в руке те, другие, цветы, она никогда так не улыбалась, как улыбается сейчас.

Наша кухня, пахнет землёй, солнцем, заречными лугами. Мать не может ехать с нами в эти луга. И вот луга пришли к ней. Она среди лугов. Она забыла о доме, о хозяйстве, о работе, о постоянных своих заботах. Лицо её озарено радостью. Это радость цветов. Так я называю это сейчас. Такой я запомнил мать на всю жизнь. Она бывала и иной - озабоченной, плачущей, работающей, спешащей, иногда ворчащей и бранящейся. Но запомнил я её вот такой - окруженной душистыми ворохами цветов.

Она прожила тяжёлую, трудную жизнь. У неё было тринадцать детей. Отец умер рано от чахотки. Очень ей было трудно, иногда непереносимо трудно. Она приходила в отчаяние. Она выплакала глаза, пока подняла на ноги детей. И ей было не до цветов. Теперь, когда ушли в жизнь, разбрелись по свету дети, когда при ней только трое самых младших, жизнь уже не кажется прожитой так тяжело.

Полевые цветы милее садовых. Огромные шапки прекрасных георгинов трогают меня меньше, чем непритязательная головка ромашки с маленьким солнышком посередине. Глядя на неё, я вижу Прекрасное. Видеть в очень простом Прекрасное - этому я научился у матери. Этим я обязан ей, этим и всем другим, что есть во мне хорошего и доброго.

Многим я обязан и тем цветам. Они были первыми моими воспитателями и первыми учителями Прекрасного.

КАК ПЛАВЯТ ЗОЛОТО

Это было в дни моего детства в Архангельске, в 1908 году.

Старший брат целыми днями сидел за верстаком. При работе у золотых дел мастера всегда случались мелкие подсобные работы, для которых нужен второй человек. Я часто бывал этим вторым и становился подручным брата.

Я бегал в аптеку за шейлаком, за морской пенкой, за бурой, я бегал на кухню за спичками, за лучинками, за угольками, я подавал инструменты или крутил ручку вальца, когда надо было раскатать золотой или серебряный слиток. Я делал всё, что нужно, с охотой и выполнял любые поручения.

Мне нравилась атмосфера мастерской и её весёлый рабочий ритм. Впрочем, весёлость и оживлённость были следствием не только самой работы, но и лёгкого, весёлого нрава брата.

Перед пасхой и рождеством заказов случалось так много, что рабочего дня недоставало и приходилось прихватывать часть ночи, а то и всю ночь.

В этих ночных работах принимал участие и я. Дом спал, а мы работали. Брат сидел за верстаком. Над коленями его прикреплён был к верстаку кожаный фартук. В него сыпались золотые и серебряные опилки, какие бывают при обработке новых вещей и при починке старых. Сбоку верстака висели на гвоздике фитильные нити, натёртые красным мастикообразным камнем-крокусом. Об эти нити начищали до блеска кольца, броши и другие вещи, сдававшиеся заказчику. Против брата, на верстаке, стояла плотно закрытая пробкой шарообразная колба, величиной с маленький арбуз. В неё была налита какая-то зелёная жидкость, так что свет стоявшей на верстаке лампы смягчался зелёной средой колбы и не слепил мастера. На верстаке, на подоконнике, на табуретке, на станине вальца, на прилавке лежали вперемешку свёрла и дрели, пилы и напильники всех видов и профилей: плоские, треугольные, полукруглые, большие рашпили и крохотные надфиля. Вперемешку с ними поблёскивали металлом лобзики, кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, штихеля, клещи, отвёртки и щипчики всех размеров и видов, тиски и медные трубки для дутья, называемые фефками.

Все эти инструменты были раскиданы в том беспорядке, в котором мастер легко разбирается и который всякому постороннему кажется непролазным хаосом.

Я отлично знал назначение каждого инструмента и умел при случае управляться с любым.

Нынче я загодя притащил брату два плотных звонких куска древесного угля, комок глины, приготовил две фефки и наполнил бензинку до пробки. Предстояла плавка золота. К нам поступил срочный заказ, и работать придётся всю ночь. Нужно сделать дюжину золотых пружинок для зубных протезов. Работа сложная и кропотливая.

Итак, нам предстоит плавка. Брат, не торопясь, делает нужные приготовления. Он берёт кусок древесного угля, ножом вырезает в нём ямку и обмазывает дно и стенки глиной. Обработанный таким образом уголёк превращается в крохотульный мартен. Только в нём будет плавиться не сталь, а золото.

В угольную ямку складываются приготовленные для переплавки обломки колец, брошей, серёг. Сложив кучку лома и примешав к ней немного буры, брат накрывает всё это другим куском угля. В средней части верхнего куска он делает полулунную прорезь, через которую будут при плавке вдуваться огонь и воздух.

Свой угольный мартен брат берёт в левую руку, а правой придвигает к себе продолговатою длинноносую бензинку, ловко чиркает спичкой и зажигает нитяной фитиль. Над бензинкой встает синевато-оранжевое пламя.

Но от этого высокого спокойного пламени толку мало. Оно, так сказать, недостаточно горячее. Оно не может дать той температуры, которая нужна для плавки золота. Для того, чтобы пламя накаляло и плавило, его нужно направлять, вдувать в него воздух.

Брат берёт в руки медную, полукругло изогнутую на конце фефку, направляет суживающийся её конец на основание огненного столба, стоящего над бензинкой, другой конец берёт в рот и начинает дуть. Рыжий столб пламени сразу переламывается и из вертикального становится горизонтальным.

Брат дует, направляя струёй воздуха пламя в полулунную прорезь под верхним углём. Белое и теперь уже горячее пламя прорывается к кучке золотого лома, начинает нагревать её, накалять и плавить. Но плавится золото, увы, не так-то быстро, а нужную для плавки температуру - почти 1100 градусов - создать бензинкой и фефкой не так просто.

Брат дует и дует в свою фефку, всё время покачивая левой рукой уголёк с золотом, и конца этому нет. Жилы на шее брата напрягаются, как туго натянутые верёвки, лицо багровеет, на лбу выступает пот. Он устал и трудно дышит, но надо ещё дуть и дуть, очень долго дуть. При этом дуть надо со сноровкой, так, чтобы струя воздуха, вырывающаяся из фефки, была ровна, непрерывна, в меру сильна и точно направлена.

Прекратить дутье нельзя ни на минуту, иначе плавка будет испорчена. Проходит десять, двадцать, тридцать минут. Брат всё дует. Капельки пота со лба скатываются в кожаный фартук верстака.

Наконец в недрах уголька в ямке появляется сперва полужидкая масса, а затем маленькая красно-оранжевая лужица. Золото расплавлено. Всё при этом прошло сегодня как нельзя лучше. Уголёк не треснул и не распался, огнеупорная обмазка выдержала. Плавка готова.

Брат перестаёт дуть, прижимает пальцами правой руки фитиль бензинки и отодвигает её в сторону. Затем он снимает верхний уголёк и осторожным, сноровистым и натренированным движением выливает золото в приготовленную мной и смазанную формочку.

После этого брат поднимается из-за верстака, разминает усталые плечи, расправляет грудь и вдруг начинает прыгать по мастерской, как лягушка. Я принимаюсь тоже дрыгать ногами и подражать ему. Брат одобрительно покрикивает:

- Гоп-ля! Гоп-ля!

Мы покрикиваем и оба смеемся.

Но дело стоит. Надо снова приниматься за него. Брат подходит к форме и, разъяв её стенки, выбрасывает на верстак не

совсем ещё остывший длинненький брусочек золота. Брат хватает его рукой и кидает на ладонь другой руки. Он обладает поражающей меня способностью переносить горячее.

Брат долго смотрит на слиток - беловато-жёлтый, тусклый, некрасивый. Совсем непохоже, что это золото, то самое золото, что так сияет, когда становится красивой брошью, тяжёлым перстнем или изящным кулоном.

- Золото, - говорит брат с не понятным мне выражением хмурой замкнутости на лице.

Он взвешивает на ладони слиток и с трудом переводит дыхание.

- Золото, брат, выплавить трудно, но зато…

Он не кончает фразы. Я смотрю в его лицо. В нём и смущение и гордость за сделанное, и много ещё другого, что непонятно мне. Мы стоим в ночи, и на нас смотрит колдовской зелёный глаз колбы. Он принадлежит какому-то огромному чудовищу. Но мы не боимся этого чудовища. Не боимся ничьих чар. Мы сами волшебники, колдуны.

Позже, много лет спустя, колдуя над словом, я часто вспоминал брата, стоявшего у верстака со слитком на ладони. И теперь я понимал всё, чего не понимал тогда.

Теперь я сам взвешивал на ладони каждое слово, ощущая его тепло и тяжесть. И теперь я в полной мере постиг, что золото выплавить трудно.

НА ПОРОГЕ СОВДЕПА

Окончено реальное училище. Товарищи мои разлетелись в разные стороны, и дальше каждый из нас уже на свой риск и страх выбирал себе жребий. Надо было выбирать и мне.

Думал ли я об этом? Озабочен ли был своим будущим? Нет, нимало. Долгие раздумья были не по мне. Я умел поступать, но вовсе не умел обдумывать поступки, да и не считал нужным. Всё в этой жизни казалось мне простым и ясным. Я нисколько не заботился о выборе жребия. Он сам должен был меня выбрать. И он выбрал. Случилось это так.

Мы шли с Соломошей Туфьясом, одним из немногих в те дни архангельских большевиков, по Троицкому проспекту, шли мимо собора, которого уже нет нынче, мимо губернаторского дома, в котором уже не было губернатора, мимо городской думы с высокой четырехгранной башней. Миновав Полицейскую улицу, только что переименованную в улицу Свободы, мы подошли к коммерческому собранию, в здании которого теперь размещался совдеп.

Здесь Соломоша надолго застрял, разговаривая с вышедшим из совдепа человеком. Человек этот был коренаст, большеголов, лохмат и нетороплив в движениях. Он был полной противоположностью подвижному, горячему, бурно жестикулирующему Соломоше. Я отошёл к воротам совдепа и стал читать наклеенную на них газету. Это были «Известия Архангельского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». На первой странице газеты было опубликовано воззвание к населению Архангельска, касавшееся распределения хлеба. Воззвание подписал губпродкомиссар Папилов.

Прочтя эту фамилию под воззванием, я тут же услышал её из уст собеседника Соломоши. Он отозвался о меньшевике Папилове весьма неуважительно, и Соломоша тотчас присоединился к этой характеристике. Они говорили ещё о меньшевиках и их работе в совдепе; потом заговорили об англичанах, об иностранных консулах и о Павлине Виноградове, который «утёр им нос».

Я не всё расслышал и потому не понял, каким образом Павлин Виноградов утёр нос иностранным консулам, но имя Павлина врезалось в память. Я тогда понятия не имел, что

двадцать лет спустя приеду из Ленинграда в Архангельск разыскивать следы Павлина Виноградова, говорить с его вдовой и его боевыми друзьями, что этот человек станет героем моего романа «Друзья встречаются» и придёт на страницы других моих книг. Ничего этого я не знал в тот далёкий день, когда, в сущности говоря, решалась моя судьба.

Когда разговор о Павлине Виноградове, губпродкоме, меньшевиках и англичанах кончился, незнакомец попрощался и отошёл. Я спросил у Соломоши, с кем это он разговаривал и кто этот крепыш с большой головой и лохматой шевелюрой? Соломоша ответил, что это боевой парень и главный среди архангельских большевиков.

- Фамилия его Тимме, - прибавил Соломоша, окончив свои объяснения. - Понял?

Я кивнул головой. Понимать, собственно говоря, тут нечего было. Но фамилия показалась мне очень весёлой и лёгкой и сразу запомнилась.

Через два дня проходя мимо совдепа, я опять остановился перед воротами, на которых наклеены были «Известия». Внимание моё привлёк большой рисунок в верхнем углу газеты. Он изображал негра, который сквозь тюремную решетку следит горящими глазами за летящей под облаками птицей. Глядя на эту распростёртую в поднебесье птицу, я вдруг вспомнил свою сказку-пересказку о выпущенной на свободу «крылатой пленнице», которую я писал в начальной школе. В этот раз я основательно застрял около газеты и долго разглядывал самую последнюю строчку её, где стояло: «Редактор Я. Тимме».

Я прочёл газету от начала до конца, и больше всего мне понравилась в ней статейка «Чьи пособники?». Статейка эта здорово подкусывала меньшевиков и подписана была фамилией Пантевич. «Интересно, что это за Пантевич? - подумал я. - Наверно, лихой парень. И обязательно с чёрной бородкой, в которой прячется ядовитая улыбочка. Хорошо бы посмотреть на него. И на Тимме заодно. Может быть, и поговорить даже… - Я взглянул на заголовок газеты, на подпись редактора внизу газеты и вдруг подумал: - А почему бы и нет?»

Вопрос этот я задал себе не впервые. В течение двух последних дней я задавал его себе много раз, хотя ни разу так и

не ответил на него. Теперь пришло время отвечать. Я распахнул калитку и решительно вошёл в совдеп, в котором размещалась редакция «Известий».

Первый, кого я увидел, войдя в редакцию, был Тимме. Он кивнул мне своей большой лохматой головой, как старому знакомому, и этот приветливый кивок разом решил всё. Без всяких колебаний и без всяких предисловий я сказал, что хотел бы работать в газете. Тимме внимательно оглядел меня, поскрёб толстым ногтем небритую щеку и спросил, давно ли я знаю товарища Туфьяса. Я ответил, что знаю Соломошу с самого раннего детства и что он друг нашей семьи.

Тимме опять кивнул лохматой головой.

- Хорошо, - сказал он сипловато и повернулся к сидевшему у окна человеку в синем поношенном пиджаке. - Пантевич, дай ему телеграммы. Пусть выправит для начала.

Пантевич оказался совсем не таким, каким я себе его представлял.

У него не было ни чёрной бороды, ни прятавшейся в ней улыбки. Пантевич вообще не улыбался. Он был сух в обращении, мешковат и сутул.

- Это, значит, вы и есть Пантевич? - спросил я с удивлением, которое не умел скрыть и которое, наверно, было непонятно моему собеседнику.

- Я и есть Пантевич, - отозвался сутулый у окна, оборачиваясь ко мне и оглядывая меня светлыми голубовато-серыми глазами. - Это тебя удивляет?

- Да, - признался я. - Сегодня я читал вашу статью в газете. Здорово написано. И совсем на вас не похоже.

- А разве статья обязательно должна походить на автора?

Сейчас на этот вопрос я твёрдо и решительно ответил бы: «Да. Конечно».

Тогда я ответил:

- Не знаю.

К этому я прибавил ещё что-то неопределённое и нерешительное. Это был мой первый в жизни литературный спор, и я не сумел не только должным образом провести его, но даже начать. Мы сели за работу. Пантевич дал мне пухлую пачку телеграмм, и я принялся править их, подготовляя к набору. Меня не смущало то обстоятельство, что я не умел править. Не надо было - не умел; теперь надо - значит, должен уметь и буду уметь.

Руководящие указания Пантевича сводились к требованию:

- Чтобы ясно и по-русски.

Теперь это требование показалось бы мне сложным и трудным. Но тогда я ничем не затруднялся и, взяв из рук Пантевича телеграммы, сел за стол. Так началось моё четвертьвековое ученье в газетных университетах. Так стал я сотрудником «Известий Архангельского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов».

Спустя две недели в той же газете появился мой первый фельетон «Царьградские штучки». Написан он был задиристо и безоглядно. Я горячо доказывал, что царь и бог завезены в Россию из Византии, из Царьграда, что огнепоклонники-славяне и их простоватые и храбрые князья вовсе не нуждались ни в христианстве, ни в самодержавии, что оба эти института чужеродны России.

Фельетон имел неожиданный и бурный успех, хотя и несколько односторонний. На другой день после выхода газеты архангельский архиерей во время проповеди, произнесённой после службы в соборе, обрушился на безбожный фельетон и предал проклятию его автора.

От совдепа, до собора было не больше километра, но по времени они отстояли друг от друга лет на тысячу. Архангельский архиерей не мог даже устроить самого паршивенького аутодафе, чтобы сжечь номер «Известий» Архангельского совдепа с крамольным фельетоном. Я остался в полной неприкосновенности, и тяготевшее надо мною проклятие нимало меня не тревожило.

ЧТОБ И ДРУГИЕ ЗНАЛИ

Второго августа 1918 года на архангельском рейде, прямо против центра города, появились военные корабли интервентов, в руках которых к тому времени уже оказались Мурманск, прилегающий к нему отрезок Мурманской железной дороги и побережье Белого моря. Ночью, в канун прихода интервентов, в Архангельске произошёл подготовленный их агентами белогвардейский переворот.

Двадцать первого февраля 1920 года посланная из Архангельска молния гласила: «Москва. Ленину. Сегодня в час 154 Красный полк вступил на посрамление мировой буржуазии, на радость международному пролетариату в Советский Архангельск… Член Реввоенсовета VI армии Кузьмин».

Восемнадцать месяцев длилась тяжёлая, изнурительная, смертельная борьба за русский Север. Противостоящие в этой борьбе силы были разительно неравны. По одну сторону была голодная, разутая, раздетая, истощённая страшной разрухой, почти безоружная молодая республика Советов; по другую - сытые, превосходно снабжённые, вооруженные армейские части четырнадцати держав во главе с Англией, Соединёнными Штатами Америки и Францией.

Я много писал о гражданской войне на Севере. Это одна из генеральных моих тем. Дела и дни этой безмерно тяжкой восемнадцатимесячной северной эпопеи и сейчас у меня под пером. Её герои и сегодня - мои герои. К ним я теперь и обращаюсь.

Гражданская война на Севере носила очень своеобычный характер. Огромные пространства, бездорожье, слабая заселённость края, мощные лесные массивы, непролазные снега - всё это вело к тому, что сплошного фронта на Севере, не было. Дрались на железной дороге, на трактах, на реках. Обладать этими транспортными артериями - значило владеть краем.

Узкие по фронту укрепленные рубежи на дорогах брать в лоб было очень трудно. Поэтому родилась тактика глубоких обходов и дерзких рейдов в тылы врага. На флангах наших укреплённых позиций на дорогах обычно висели местные партизанские отряды, которые не только противодействовали обходным манёврам

врага, но и сами проникали во вражеские тылы.

Партизанское движение широко развилось на Севере, и первое время до подхода подкреплений из центра и образования Шестой армии, державшей Северный фронт, местные вооруженные отряды из рабочих, крестьян, советских работников, которыми чаще всего руководили коммунисты уездных и волостных партийных организаций, были основной боевой силой на Севере.

Роль местной инициативы и горячий накал патриотической борьбы за свой край, пожалуй, ярче всего проявились в боях на Северной Двине, героем которых и активнейшим организатором отпора силам интервентов и белогвардейцев в первый месяц войны был заместитель председателя Архангельского губисполкома Павлин Фёдорович Виноградов. Но об этом в следующей главе.

А сейчас мне бы хотелось рассказать вот о чём. После нескольких повестей о гражданской войне на Севере я замахнулся в тридцать пятом году на большой роман, посвящённый борьбе северян за свой край, за молодую Советскую республику в восемнадцатом-двадцатом годах.

Садясь за роман, я думал поначалу, что работа над ним будет мне нетрудна, так как хорошо знал и Север, и северян.

Но все оказалось не так. Работа сразу как-то незаладилась. Чего-то мне недоставало, каких-то доподлинных деталей быта, обстановки, обихода фронтовых будней тех дней. Да и общая картина Северного фронта гражданской войны с особыми его характерными чертами виделась мне сперва недостаточно отчетливо.

Сердито побарахтавшись несколько месяцев в непокорном, бесформенном ещё для меня и бескрайнем материале будущего романа, я решительно забросил написанное в какой-то самый нижний и самый неуютный ящик письменного стола, в который редко заглядывал, бешено щёлкнул замком пишущей машинки и кинулся в Архангельск, в те места, где происходило всё, мной описываемое, к тем людям, о которых я писал.

Это было летом тридцать шестого года, и хотя со времён гражданской войны прошло почти два десятилетия, память о тех

днях ещё жила среди архангелогородцев. Живы были и многие горой и свидетели тех огневых дней.

Правда, ничего готового, даже никаких полуфабрикатов, которые можно было бы положить в основу романа, я сперва не находил. Книг о гражданской войне на Севере почти не было. Не существовало и никаких сводных материалов, которые систематизировали бы разрозненные события тех бурных лет, чаще всего не имевших своих летописцев Для того, чтобы представить себе хотя бы схематически и грубо последовательность событий и боевых дел гражданской войны, особенно действий отдельных частей и отрядов, участвовавших в ней, приходилось проделывать огромную работу, поднимая нетронутую целину и собирая материал буквально по крупицам.

Помню, как много хлопот доставила мне проходная фраза в романе: «Тридцать первого июля англо-франко-американская эскадра в семнадцать кораблей поднимает в Мурманском порту якоря, выходит в открытое море и берёт курс на Архангельск».

Казалось бы, никакого труда не составляет написать «семнадцать кораблей». Но откуда взять эту цифру семнадцать? Никто мне её не приготовил, никто для меня не считал приходящих в Россию крейсеров и других военных кораблей англичан, американцев и французов, появившихся второго августа 1918 года на архангельском рейде. Каждую единицу этой флотилии приходилось вылавливать в самых различных закоулках самых различных архивов, в документах, газетах, журнальных заметках и прочих источниках, дознаваясь, когда, какой корабль интервентов и откуда появлялся в наших водах.

Я бы, вероятно, скоро и безнадёжно запутался во всех хитросплетениях иностранных дипломатов-заговорщиков, во всех явных и тайных перипетиях взаимоотношений интервентов друг с другом и с белогвардейцами, между различными группами и группочками в них, во всей раздробленной необозримости малых фронтовых дел и сложных операций на фронте в полторы тысячи километров, пролегающем в лесах и болотах, в снегах и непролазных грязях весенней и осенней распутицы.

Нужен был надежный Вергилий, чтобы не запутаться во всех этих невыясненностях и сложностях. И я нашёл в Архангельске не одного, а многих Вергилиев. Первым из них был Г. Поскакухин - бывший заключённый страшной мудьюгской каторги и один из

организаторов восстания каторжан в сентябре 1919 года и их беспримерного похода по непролазным лесам на Пинегу, где стояли красные части.

Я поехал с Поскакухиным на лежащий в горле Белого моря остров Мудьюг, и мы провели с ним там день.

Поскакухин опирался на палку и похрамывал. Хромота осталась памяткой от первого боя с интервентами у Солозского монастыря на Летнем берегу Беломорья в конце июля 1918 года. После боя раненый Поскакухин попал в плен к англичанам, потом брошен был в Архангельскую губернскую тюрьму и оттуда, через тюремный лазарет, угодил на мудьюгскую каторгу.

Тяжкие испытания, выпавшие на долю этого человека, виделись на худом бледном лице. Но они не сломили его. Поскакухин был деятелен и, несмотря на свою хромоту, подвижен. В этот день, проведенный на Мудьюге, мы исходили остров вдоль и поперек. То и дело мы останавливались, и Поскакухин показывал своей палкой, на которую опирался при ходьбе:

- Вот тут барак каторжан стоял.

- Тут сторожевая башня с пулеметом.

- Тут барак подследственных.

- Вот кладбище каторжанское; видали, сколько народу загубили.

- Тут мы песок копали, а назавтра выкопанную яму этим же песком и засыпали.

- Здесь камыш на болоте косили для того, чтобы его затем выбросить.

- А там вон за бараком карцер был, а подальше, где батареи, - другой. Постройка нехитрая: в землю сруб врыт, сверху дерном покрыт и всё; ни окна, ни печи, ни нар, ни пола. А там сидели и осенью и зимой…

Мы ходим и ходим по острову. Поскакухин рассказывает теперь о сентябрьском восстании каторжан, рассказывает

подробно, показывая, с какой стороны каторжане выбились из барака, где соединились с подследственными, где отстреливались от надзора, где через проволочные заграждения под обстрелом перебирались, где и как уселись в три карбаса, взятые у приехавших на сенокос крестьян Патракеевской волости. Рассказывает, как тридцать два вырвавшихся на свободу каторжанина шли лесами на Пинегу.

Всё рассказываемое Поскакухин сопровождал точным показом на местности, с упоминанием дат, дней, часов, когда случилось то или иное из мудьюгских событий; всё обрастало бесчисленными и живыми подробностями, делавшими рассказ зримым и волнующим.

Пораженный удивительной, почти осязательной памятью на малейшие детали быта мудьюгских каторжан и событий, происходивших семнадцать лет назад, я воскликнул:

- Как вы все удивительно чётко помните!

Бледное, костистое лицо Поскакухина посуровело. Он отозвался глухо:

- Разве это можно забыть? Разве я имею право забыть? Разве кто другой имеет на то право?

Он поглядел мне прямо в глаза и сказал негромко, но требовательно:

- Вы вот всё это напишите, чтоб и другие знали и тоже вовек не забывали.

…Я всё это написал. Вернувшись в Ленинград и снова взявшись за прерванный роман, я прежде всего и написал главы романа, относящиеся к мудьюгской каторге, которые глубоко прочувствовал и как бы пережил вместе с Георгием Поскакухиным. Критики отмечали эти главы, как одни из лучших и наиболее волнующих. Если это так, то в значительной степени я обязан этим живости, зримости и взволнованности рассказа моего добровольного гида по Мудьюгу.

Кстати, в моём романе «Друзья встречаются» Поскакухин присутствует и как действующее лицо. В романе он носит фамилию - Ладухин.

Другой организатор восстания каторжан на Мудьюге - бывший матрос «Авроры» Пётр Стрелков выведен в романе под фамилией Сивкова. Совсем недавно, после выхода в 1969 году нового переиздания романа «Друзья встречаются», я получил из Мурманска письмо от одного из читателей романа Валентина Яковлевича Котова. Он сообщил мне, что его мать, жившая в дни мудьюгской каторги по соседству со страшным островом в деревне Патракеевке, была подругой Марии Васильевны Стрелковой - жены, а ныне вдовы одного из руководителей восстания каторжан на Мудьюге. Они наезжали на остров, чтобы продавать англичанам из охраны молоко и рыбу, а также по возможности выведать что-нибудь о своих родичах, томившихся на каторге. Пользуясь удобным случаем, женщины передавали своим мужьям-каторжанам записки, а то и кое-какие вещи.

Котов сообщил мне, что Мария Васильевна Стрелкова переслала мужу запечённые в хлеб компас и перочинный нож. Она же сообщила мужу в записке, когда патракеевцы приедут на арендуемые ими мудьюгские луга косить сено, чтобы восставшие могли воспользоваться крестьянскими карбасами, на которых беглецы могли бы переехать с острова на материк.

Так, спустя более полувека после событий, описанных в романе «Друзья встречаются», спустя тридцать четыре года после моей поездки в Архангельск для сбора материала, спустя тридцать лет после выхода романа в свет продолжает наращиваться его материал, продолжается живая связь с людьми и событиями тех дней. Так, живя в Ленинграде, я продолжаю держать связь с северянами - и живущими в Архангельске, и раскиданными по городам и весям нашей страны.

ПРОСПЕКТ ПАВЛИНА ВИНОГРАДОВА

После поездки вместе с Поскакухиным на остров Мудьюг я вернулся в Архангельск, разыскал ещё кое-кого из бывших мудьюгских каторжан, поработал в архангельском истпарте и в областном архиве. В поисках документов, относящихся к гражданской войне на Севере, много помогли мне заведующий истпартом М. Порогов и работник архива В. Ферин.

После Архангельска и Мудьюга спустя некоторое время я съездил в Мурманск и в Кандалакшу, где также покопался в архивах. Самой ценной из архивных находок в Мурманске был дневник матёрого белогвардейца, одного из вдохновителей интервенции капитана Веселаго. Разыскались Кандалакшские партизаны Иван Аопинцев и Герасим Пельтихин. Ещё до сего дня сохранилась у меня стенограмма беседы со знаменитым мурманским партизаном Иваном Поспеловым, которого всё в этом крае знали под кличкой Ваньки Каина.

В результате этих очень хлопотливых и очень плодотворных поездок, в результате розысков и встреч со многими участниками событий, которые мне предстояло описывать, я составил себе довольно ясное представление о делах и днях Северного фронта гражданской войны в России, его событиях, о людях тех дней, о их трудной жизни и ещё более трудной борьбе.

И вышло как-то само собой, что в процессе вживания в материал гражданской войны я всё больше и больше прилеплялся душой к её героям, и особенно к Павлину Виноградову.

Материал, который ложится на душу, потом покорно и по-доброму ложится и под перо.

Так было и с Павлином Виноградовым. Покорив меня, он, естественно, вслед за тем завладел и многими страницами моего романа «Друзья встречаются».

Чем же покорил меня Павлин Виноградов и заставил горячо и увлечённо писать о себе? Какими человеческими качествами? Какими чертами своего характера? Ответить на этот вопрос не так-то просто, потому что черт этих и качеств в моём герое великое множество. Невозможно всё так вот сразу выпалить. Лучше сделаем вот что.

Весь Павлин Виноградов лучшими своими чертами отлился в боевых действиях, которые вёл он против интервентов и белогвардейцев на Северной Двине в августе и начале сентября 1918 года. В этот труднейший и напряжённейший месяц Павлин распрямился во весь свой богатырский рост и стал истинным героем. Давайте поэтому проследим хотя бы бегло, что сделано им за этот последний месяц жизни, и, я полагаю, этого одного уже будет достаточно для того, чтобы представить себе воочию, каков был Павлин Виноградов.

В ночь на второе августа 1918 года губисполком и другие советские учреждения ушли из Архангельска вверх по реке, так как к городу приближались военные корабли англо-американо-французских интервентов. В эвакуационном караване было шестьдесят речных пароходов.

Третьего августа днём эвакуационный караван, во главе со «Св. Савватием», на котором ехал губисполком, прошел Двинской Березник, отстоящий от Архангельска на триста километров, и пошёл дальше на Котлас.

Поздно вечером появился в Березнике Павлин Виноградов. Но пароход, на котором он причалил к березниковской пристани, пришел не снизу, а сверху, не от Архангельска, а с противоположной стороны - от Шенкурска.

Как попал Виноградов в Шенкурск и что он там делал? Несколько дней тому назад, то есть в конце июля, он, захватив с собой два десятка красноармейцев, кинулся из Архангельска в Шенкурск на подавление мятежа, поднятого шенкурскими кулаками, возглавляемыми Ракитиным.

Почему именно Виноградов помчался в Шенкурск воевать с кулаками? Он не был ни военкомом, ни членом штаба Беломорского военного округа, не числился членом Совета обороны, вообще никаких военных должностей не занимал и даже военного звания не имел.

Почему же всё-таки именно он кинулся в Шенкурск на подавление кулацкого мятежа, причём с силами до чрезвычайности малыми?

Да просто потому, что он был Павлином Виноградовым. Он

всегда был там, где каша заваривалась всего круче, где было в данный момент всего трудней и горячей, где революции и Советской власти угрожала опасность.

Подавив шенкурское восстание и появившись третьего августа уже к ночи в Березнике, Виноградов узнал, что здесь никого нет, кроме небольшого отряда в двадцать пять человек.

Поднявшись в гору на телеграф и узнав от руководившего отрядом члена губисполкома Е. Шишигина о том, что эвакуационный караван судов во главе с губисполкомовским «Святым Савватием» пошел к Котласу, возмущённый Павлин Виноградов передал по телеграфу, как заместитель председателя губисполкома, приказ флотилии вернуться в Тулгас, расположенный недалеко от Березника. Сам же Виноградов отправился на своём пароходе в разведку в сторону Архангельска, чтобы выяснить, нет ли уже на реке неприятеля.

Эту разведку, в сущности говоря, и следует считать началом военных действий на Северной Двине.

Вернувшись из разведки и узнав, что попытки разыскать на реке губисполкомовский и другие пароходы не увенчались успехом, Павлин Виноградов тотчас отправляется вдогонку за ними в Котлас.

Пятого августа Павлин Виноградов примчался в Котлас, но и здесь не нашел губисполкома, проехавшего для сдачи банковских ценностей и эвакуированных учреждений в Великий Устюг.

Виноградов тотчас устремляется в Великий Устюг, чтобы вернуть губисполком. Шестого августа он уже там. На срочном заседании губисполкома он критикует порядок эвакуации, настаивает на возвращении губисполкома в Котлас и немедленной организации боевых отрядов из добровольцев.

В ночь на седьмое августа, вернувшись из Устюга в Котлас, Виноградов временно принимает на себя командование Котласским районом. Почему он это сделал? Да опять же потому, что он Павлин Виноградов. Он был решителен, храбр, умён. Он видел, что в довольно бестолковой, сумятице эвакуации теряется дорогое время, упустив которое, быть может, уже невозможно будет наверстать его позже. Он знал: глава большевиков, секретарь архангельской партийной организации Ян Тимме - на

излечении где-то в центре России; председатель губисполкома С. Попов и председатель Совета обороны И. Вахрамеев - в Вологде, куда выехали для совещаний с вологжанами ещё до прихода интервентов. Между тем, нужны были немедленные, быстрые, решительные действия, нужно было немедленно и быстро организовать эти действия. Нужно было возглавить борьбу с интервентами. Нужна была революционная инициатива. Он - заместитель председателя губисполкома. Он сейчас на месте, все нити в его руках. Должна быть в его руках и организующая отпор интервентам власть. Он, правда, беспартийный, но это не имеет сейчас решающего значения. Он всегда был с большевиками, всегда голосовал за их резолюции в Совете и губисполкоме. Он всегда был солдатом революции - и тогда, когда попал в Александровский централ, где ему выбили зубы, и тогда, когда, призванный в солдаты, публично на плацу перед всем полком отказался присягать царю. И сейчас - он, верный солдат революции, идёт воевать за неё. Именем этой революции и верный долгу революционной совести, революционной инициативы, он временно берёт на себя ответственность за боевые действия против интервентов и белогвардейцев на данном участке в данный момент.

В тот же день седьмого августа Виноградов организует боевые отряды и вооружает речные пароходы, превращая их в боевые суда. Первый отряд, который Павлин Виноградов на буксире «Могучий» отправляет навстречу врагу вниз по реке, состоит из тридцати восьми чекистов во главе с зампредом губчека Георгием Линдеманом.

На следующий день, то есть восьмого августа, вслед Линдеману Виноградов отправил на «Мурмане» вниз по Двине отряд, составленный из членов губисполкома. В тот же день он отправляет по Северной Двине ещё два отряда рабочих и моряков.

Десятого августа, доведя количество бойцов в сформированных отрядах до трёх сотен, Павлин Виноградов во главе небольшого отряда на двух пароходах «Светлана» и «Любимец» сам выходит на театр военных действий. Не прошло ещё и недели, как он появился на Двине, а вокруг него уже бьёт поднятая им высокая волна патриотического добровольческого движения, поднимающая на борьбу с интервентами сотни северодвинцев, архангелогородцев, шенкурян, березниковцев.

Вот как описывает в недавно опубликованных воспоминаниях

(журнал «Север» № 2 за 1970 г.) эти бурные дни в Котласе старый большевик А. Медведев, который, будучи назначен командующим войсками Котласского района, отправился к месту службы: «Котлас готовился к обороне. Помню, выйдя на котласскую пристань, мы стали свидетелями кипучей работы речников. Люди тащили на палубы пароходов мешки с песком, железные листы, ящики с боеприпасами, вкатывали пулеметы, орудия. Там и тут стучали молотки. Работали днём и ночью. В эти дни рождалась Северодвинская речная военная флотилия, коей суждено было вписать замечательную страницу в историю борьбы с интервентами на Севере. Организатором флотилии был 28-летний Павлин Фёдорович Виноградов - зампредседателя Архангельского губисполкома. Он, воодушевлял людей, руководил переоборудованием и вооружением первых судов. Флотилия составлялась из транспортных и пассажирских судов, уведённых речниками из Архангельска буквально из-под огня вражеских крейсеров и гидропланов.

Военная флотилия была создана в считанные дни. В связи с проводами её на фронт на пристани состоялся короткий митинг. Представители партийных и советских организаций, предприятий и учреждений напутствовали воинов. Ответную речь произнес П.Ф. Виноградов, ставший главой флотилии и одновременно моим заместителем. Он заверил трудящихся Севера в том, что созданная их руками флотилия достойно проявит себя в боях с врагом.

- Отныне мирные речники, перевозившие лес и другие грузы, становятся военными, - говорил он. - Мы не посрамим красных знамён, реющих на наших кораблях, отомстим интервентам за их злодейское нападение на страну Советов!»

Слова Павлина Виноградова не остались втуне. Он действительно не посрамил красных знамён, реющих на судах Северодвинской флотилии. Теперь, когда был официально назначен командующий Котласским районом и у Виноградова были развязаны руки, он ринулся вниз по реке навстречу врагу, который, как стало известно, уже дошёл до Двинского Березника и там устроил с пятью своими кораблями базу.

Туда и устремился неукротимый Павлин, чтобы сойтись, наконец, с врагом грудь с грудью и дать ему бой.

На полпути от Котласа к Березнику Павлин Виноградов

встречает пароходы «Вельск» и «Учредитель» с отрядами моряков, которые, отступая, шли назад к Котласу. Виноградов повернул их и увлёк за собой навстречу врагу. Не доходя полсотни километров до Березника, он встретил отряды Линдемана на «Могучем» и «Мурмане» и тоже задержал их. Он привёз с собой на «Светлане» из Котласа орудия и пулемёты. Сцепив все суда на середине реки, Виноградов установил на них орудия и пулемёты, превращая, таким образом, мирные речные буксиры в грозные боевые суда. Что они грозны, он доказал врагу день спустя, когда дал у Березника первый бой интервентам и белогвардейцами.

Этот бой одиннадцатого августа 1918 года трех судов Павлина Виноградова - «Мурман», «Могучий» и «Любимец» - против пяти кораблей белоинтервентов очень подробно и в полном соответствии с действительными фактами описан мной в романе «Друзья встречаются».

В этом бою невоенный Павлин Виноградов проявил блестящие способности военачальника и исключительную храбрость. Во время этого беспримерного ночного боя, длившегося два часа десять минут, Павлин Виноградов не покидал своего командного мостика на «Мурмане», который шёл флагманом крохотного отряда. Очки Виноградова и жестяной рупор, с которым он не расставался; поблёскивали при вспышках выстрелов, словно не орудия, а они стреляли по врагу. А, пожалуй, почти так оно и было, ибо орудия повиновались тем, кто повиновался громким хрипловатым командам, раздававшимся с капитанского мостика флагмана. Стоявший рядом с Павлином Василий Виноградов, секретарь Архангельского горкома партии, был убит, капитан «Мурмана» ранен. Но Павлин Фёдорович остался невредим. А, между тем, «Мурман» был в ходе всего боя впереди маленькой флотилии, и на нём временами сосредоточивался огонь орудий, пулеметов и винтовок всех пяти кораблей противника.

Чтобы выручить Линдемана на «Могучем», у которого был убит лоцман, Павлин Фёдорович, привлекая огонь на себя и в упор расстреливая врага из одной единственной уцелевшей пушки, подходил к стоявшим у берега кораблям противника на пятьдесят метров.

Бой был проведен Виноградовым дерзко, смело, искусно. Цель его - показать белоинтервентам, что красные на реке во всеоружии, и задержать врага подольше на месте - была

достигнута полностью, о чём Павлин Виноградов тотчас и донёс по телеграфу в Котлас командованию войсками Котласского района. Донесение о проведенном Виноградовым удачном ночном налёте на Двинской Березник было передано временно командовавшему Северным фронтом М. Кедрову, а тот, в свою очередь, отправил донесение в Москву Ленину. На этом донесении Владимир Ильич, ещё раньше указывавший на Северную Двину, как на возможный театр военных действий, имеющий особое значение, поставил резолюцию: «В печать. Крупная победа над англичанами и белогвардейской сволочью».

Этой первой и крупной победой над врагами революции на Севере мы обязаны инициативе, блестящему организаторскому таланту и мужеству Павлина Виноградова, славным красным бойцам.

В дальнейшем - пятнадцатого, двадцатого, двадцать восьмого и двадцать девятого августа Виноградов снова схватывался на реке с противником, силы которого всё возрастали.

Но росли и наши силы. Подходили подкрепления из Центра. На Северную Двину пришёл большой отряд балтийских матросов, пришли путиловские рабочие, пришёл инженерный отряд имени Петроградского Совета, пришёл Вологодский полк. В последних числах августа из пришедших частей и местных отрядов была сформирована Северодвинская бригада, командующим которой, с подчинением ему Северодвинской флотилии, был назначен Павлин Виноградов.

К началу сентября силы противника сосредоточились близ устья реки Ваги, впадающей в Северную Двину выше Березника. От устья Ваги, в случае его захвата, врагу открывались водные пути как на Шенкурск, так и на Котлас. Павлин Виноградов в полной мере учитывал важность этой ключевой позиции, и все его усилия в августе 1918 года сводились к тому, чтобы не отдать в руки врага устье Ваги.

Ту же цель имели и боевые действия руководимых Павлином Виноградовым Северодвинской бригады и речной флотилии в первых числах сентября, включая и последнюю операцию восьмого сентября. Заметя, что в критический момент боя пушки, стоявшие близ деревни Шидрово, на правом берегу Двины, умолкли, Виноградов сам кинулся к единственному уцелевшему орудию и завязал бой с двумя кораблями противника. Один из

них он подбил и вывел из строя. Но орудийный залп, произведённый вражеской канонеркой с реки, поразил героя насмерть. Он упал возле умолкшей пушки и больше уже не встал.

Так в бою, сражаясь, ведя огонь по врагам, пал двадцативосьмилетний Павлин Виноградов. Он был смел до дерзости, неукротим, неустанен, необыкновенно деятелен, самобытно талантлив в военном деле. В любой области деятельности, какую бы он ни выбирал или какая ни выбирала бы его, Павлин Виноградов работал с полной отдачей, с безграничной увлечённостью, одержимостью своим делом, своей идеей. А дело у него было одно и идея одна - служение революции, борьба за неё.

В последний месяц своей жизни Павлин Виноградов возглавлял силы красных на Северной Двине, выполняя ленинский план «защиты Котласа во что бы то ни стало». План этот был выполнен. Белоинтервенты не овладели Котласом, не прошли к Вятке на соединение с Колчаком. Ожесточенные бои на Северной Двине длились до самого ледостава, когда боевые корабли врага намертво вмерзли в метровый двинской лед. Фронт стабилизировался.

Павлин Виноградов родился под Петербургом, был рабочим Сестрорецкого оружейного завода. Призванный царским правительством в армию, он отказался присягать царю, был отдан в штрафной дисциплинарный батальон, а за революционную пропаганду в этом батальоне предан военному суду и осужден на восьмилетнюю каторгу. Сидел в Шлиссельбургской крепости, потом в страшном Александровском централе в Сибири.

После Февральской революции семнадцатого года, освободившей его от каторги, Павлин Фёдорович мчится в родной Петроград, где с головой уходит в кипучую революционную работу. Как представитель Александро-Невского района столицы, он в феврале 1918 года приезжает в Архангельск, чтобы организовать отправку из города хлеба голодающему Питеру. Недели через две он снова появляется в Архангельске по делам Народного комиссариата продовольствия и остаётся здесь.

В это время окраины России, в том числе приморский и близкий к Англии Архангельск, становятся средоточием контрреволюционных элементов и подготовки заговоров против Советской власти.

Павлин Виноградов, которого кооптируют в губисполком, а затем избирают заместителем председателя его, со всей присущей ему энергией включается в борьбу с северной контрреволюцией, вдохновляемой переехавшими из Петрограда на Север послами иностранных держав.

С началом гражданской войны Павлин Виноградов целиком переключился на вооруженную борьбу с захватчиками и белогвардейцами.

В Ленинграде стоит мраморный обелиск, поставленный на могиле Павлина Виноградова. В Архангельске, в центре города, установлен памятник работы скульптора М. Алёщенко.

Главная магистраль Архангельска, пересекающая весь город, зовётся проспектом Павлина Виноградова. Это справедливо, верно, хорошо. Пусть знают и помнят тысячи архангелогородцев, ежегодно и ежечасно шагающих и едущих по проспекту, - здесь жил, работал, боролся неистовый и бессмертный Павлин, воплотивший в себе с поразительной силой кипучий темперамент революции, с беззаветной храбростью дравшийся за победу в первых рядах её гвардии до последнего своего вздоха и сложивший за неё свою буйную, смелую и славную голову.

С НИМ ДО КОНЦА

Я не встречался с Павлином Виноградовым, не знал его лично. Создавать его образ в романе «Друзья встречаются» мне приходилось по документам, по рассказам его жены Ольги Владимировны и его друзей, которых я разыскал во время своей поездки в Архангельск в тридцать шестом году.

Но после написания романа я не имел возможности проверить, как получился у меня этот образ, верен ли портрет героя. Таков ли действительно был Павлин Виноградов, каким я описал его?

Но вот однажды, примерно через полгода после выхода романа в свет, на моём письменном столе затрещал телефон, и, подняв трубку, я услышал глуховатый и не совсем уверенно звучащий голос:

- Товарищ Бражнин?

- Да.

- С вами говорит Фёдоров, участник гражданской войны на Севере, вестовой Павлина Виноградова. Я прочёл ваш роман «Друзья встречаются» и хотел бы поговорить с вами.

Через час Николай Фёдорович был у меня, и с этого дня завязалась наша долгая и крепкая дружба. Виделись мы довольно часто, и в каждое свидание говорили о Павлине Виноградове. В те дни, когда на Северной Двине гремели бои с интервентами и белогвардейцами, рвавшимися к Котласу, Николке Фёдорову было семнадцать лет. За малым ростом и довольно хлипким сложением он казался совсем мальчишкой.

Но мальчишка этот был боек, подвижен, исполнителен и, случалось, выполнял срочные поручения Павлина Виноградова ещё в Архангельске, до прихода интервентов и белогвардейцев. Неистовый Павлин и тогда уже, в преддверии белогвардейского переворота и намечавшейся капиталистическими державами интервенции, не давал спуску послам и консулам иностранных держав, затевавших заговоры против Советской власти и мечтавших об отторжении Севера от Советской России.

Третьего июля 1918 года Павлин Виноградов и двое других членов губисполкома приняли проживавших в Архангельске американского, английского и французского консулов. Консулы почти открыто готовили интервенцию, наглели с каждым днём и скапливали свои войска в Архангельске. Войска их архангелогородцы начали разоружать. Тогда-то консулы и явились к Виноградову и в разговоре с ним, стали угрожать ему и его товарищам расправой.

Павлин Виноградов выслушал их, потом поднялся из-за стола во весь рост и сказал громко, отчеканивая каждое слово:

- Господа консулы, вы должны знать, что мы, революционеры, опрокинувшие чрезвычайные законы царского правительства, тем менее можем бояться ваших угроз, ваших чрезвычайных трибуналов и ваших королевских законов.

Он поправил очки, помолчал мгновенье и сказал, указывая на дверь:

- Господа консулы, аудиенция закончена.

- Огонь человек был, - говорил, вспоминая об этом эпизоде, Николай Фёдорович. - И как же вы его угадали? Как удалось вам схватить и нарисовать этот неповторимый характер, этот стихийный волевой напор.

Николай Фёдорович сводил меня однажды на могилу Павлина Виноградова. Она находится в Ленинграде, в парке лесотехнической академии.

Николай Фёдорович знал о Павлине Виноградове больше, чем кто-либо другой. И знаниями этими он щедро делился с теми, кто интересовался историей края, событиями гражданской войны на Севере, особенно боевыми делами Павлина Виноградова, память о котором он чтил свято в течение всей своей жизни.

Лично мне Николай Фёдорович сообщил немало нового для меня касательно Павлина Виноградова. Я бы не сумел написать главы о Павлине Виноградове в этой книге так, как написал её, если бы копилка памяти Николая Фёдоровича не была всегда к моим услугам.

А память моего друга была удивительно цепкой и чёткой. Николай Фёдорович - подними его ночью с постели - мог безошибочно и без запинки назвать точную дату почти любого из событий героической борьбы за освобождение Севера. Он неустанно разыскивал всё новые и новые материалы о жизни Павлина Виноградова и года четыре тому назад откопал где-то и принёс ко мне старую газету с подробным описанием церемонии приведения новобранцев к присяге в селе Медведь Новгородской губернии, где Павлин Виноградов отбывал в дисциплинарном батальоне наказание как раз за отказ присягать царю. Его взяли под стражу, и тогда, задумав произвести политическую демонстрацию, он сообщил командованию, что согласен присягать. Обрадованный тем, что сломил-таки строптивого солдата, командир запасного полка полковник Тепфер решил торжественно обставить акт принесения присяги и не только выстроил на плацу весь полк, но пригласил и гостей из города. И тут-то, выведенный на высокий помост, Павлин Виноградов преподнёс начальству свой сюрприз, провозгласив с помоста вместо присяги:

- Долой самодержавие! Да здравствует революция!

Года за два до смерти Николай Фёдорович закончил воспоминания о гражданской войне на Севере, в которых он много места уделяет Павлину Виноградову.

Труд этот невелик по объему - всего шестьдесят машинописных страниц, но он привлекает точным знанием событий гражданской войны на Севере в мельчайших и характернейших деталях, дающих очень ясное представление об эпохе, о трудном и героическом «восемнадцатом годе.

К слову сказать, Николай Федорович не только участник гражданской войны, но участник двух других: финской кампании и Великой Отечественной войны. Он являлся одним из организаторов Архангельского комсомола.

Когда я думаю о Павлине Виноградове, я обязательно думаю и о Николае Фёдорове. Это естественно. Ведь вихрастый Николка Фёдоров всегда и повсюду следовал за своим командующим. Даже гроб с телом погибшего под Шидровом героя именно он сопровождал до Котласа в бессменном двухдневном карауле. Он и после смерти Павлина Виноградова до конца дней своих оставался его верным ординарцем.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХАНГЕЛЬСК

Теперь несколько отвлечёмся от военных событий и обратимся к делам сугубо штатским. Как только отгремел бурный 1920 год, как только были изгнаны с Севера разномастные интервенты и разнокалиберные белогвардейцы, для Архангельска наступило время залечивать раны и решать мирные задачи во всех областях жизни.

В плане культурного строительства, начавшегося сразу же после освобождения Архангельска, стояли и дела литературные, хотя в первое время они как-то не были четко оформлены. Тем ярче запомнился один из первых, широко организованных в городе литературных вечеров.

Десятого декабря 1921 года зал бывшего коммерческого собрания, в котором играла местная драматическая труппа, был переполнен, хотя спектакля в этот вечер и не было объявлено. Архангелогородцы сюда пришли на вечер, посвящённый столетию со дня рождения Некрасова. Устраивали мы этот вечер по собственной инициативе и собственными силами. Мы - это группа архангельских писателей, а точней говоря, группа будущих писателей, которые собирались субботними вечерами в помещении недавно организовавшегося в Архангельске Пролеткульта.

Группа наша была поначалу не так чтобы очень велика. Обычными завсегдатаями наших субботних вечеров были поэты Владимир Жилкин, Дмитрий Ершов, Леонид Циновский, Пётр Калашников, прозаик Сергей Голубов. К какой категории членов этого содружества причислить себя, я не знаю, так как писал и ямбами и презренной прозой. Впрочем, прозу я до поры до времени стыдливо укрывал от посторонних взоров и ушей и публично выступал, если представлялся случай, только со стихами.

Именовалась эта наша группа изредка и пышно литературной студией, а чаще и проще - литературным кружком, существовавшим при Пролеткульте наравне с другими студиями-кружками: драматическим, изо, хоровым и ещё какими-то. По существу, мы были вольным и не связанным никакими официальностями содружеством литературной молодёжи города. На собрания наши мы приходили потому, что нам было

интересно друг с другом, потому что мы были преданы литературе, не чая ни от этой преданности, ни друг от друга никаких прибытков. Приходили на наши сборища вообще все, кто желал. Помнится, нередкими гостями нашими были актёры местного театра Белоконь, Бартия и другие. Они читали нам не наши, а другие стихи, читали хорошо, и мы, слушая их, дивились тому, как прекрасно может звучать слово, учились уменью въедаться в его существо, вдумываться в стихотворную строку, проникать в её смысл и строй, учились любви к своему делу.

Планов занятий у нас никаких не было. Собирались, читали, что у кого было готового, и выкладывали, что у кого было на душе. Единственным, кто, случалось, знал и предполагал что-то заранее, был Николай Блинов, который сам не писал, но был одним из самых горячих патриотов нашего сообщества. Он был молод, как и все мы, но казался всех нас рассудительней и степенней. Для пущей солидности он даже бородку отрастил. Ходил он всегда и всюду в одном и том же стареньком военном френче, был общительным человеком, но не без лукавинки.

После чтений наших Блинов обычно выступал с критическими замечаниями, на которые сами мы были не ахти какие мастаки. С течением времени и незаметно для нас он стал как бы нашим оргсекретарём. Он же организовал и вечер в честь столетия со дня рождения Н.А. Некрасова.

Основной доклад о жизни и творчестве поэта-гражданина было поручено почему-то сделать мне, хотя я отнюдь не добивался этой чести, не отличался особым красноречием и никаких докладов до сей поры не делал.

Последнее обстоятельство, впрочем, мало меня смущало, и недостаточная опытность возмещалась большим эмоциональным зарядом. Кроме того, мне было всего двадцать три года, и я ничего на свете страшиться не умел, даже глядящего на тебя в тысячу глаз зрительного зала.

Словом, я согласился сделать доклад и немедля отправился в Архангельскую фундаментальную библиотеку (так она тогда называлась), чтобы вооружиться к предстоящему испытанию. Подготовка к докладу не слишком обременяла меня. Я больше вчитывался в стихи поэта, чем в подробности его биографии.

Писанного доклада я не готовил, и, когда отправился на

вечер, в кармане моём не было никаких записей и тезисов. Шпаргалки тогда были не в ходу, и каждый говорил с любой трибуны, как умел.

Несмотря на явную малоопытность мою как докладчика, всё сошло вполне благополучно.

После доклада актёры читали некрасовские стихи. Вечер прошёл удачно, живо, и после него народу на собраниях нашего вольного литературного сообщества заметно прибавилось. Обитель пролеткультовская, где происходили наши собрания, стала многолюдней и оживлённей.

Надо сказать, что обитель эта была не из плохих, так как собирались мы в бывшем особняке Суркова на углу Финляндской улицы (ныне улица А. Попова) и Набережной. Сурков этот был в Архангельске фигурой весьма приметной. Крупнейший капиталист, владелец лесопильных, пивного, опирто-водочного заводов, домов, пароходов, контор, он, хоть и носил русскую фамилию, был немцем. По-русски он говорил плохо и изъяснялся по преимуществу матерными словами, особенно если разговаривал с людьми, ему подчиненными. После разгрома белогвардейцев Сурков бежал вместе с побитым Миллером в Англию, а в бывшем его особняке месяца через два обосновался Пролеткульт, которому Архангельск обязан первыми литературными начинаниями. Многие из нас именно там получили путёвку в литературу и до сих пор поминают добрым словом и архангельский Пролеткульт и его организатора Фёдора Степановича Чумбарова-Лучинского, человека могучего общественного темперамента и поистине неиссякаемой энергии, фантастически деятельного и разносторонне одарённого.

Да вот посудите сами: сын крестьянина-бедняка, он, попав мальчишкой в Петербург и работая при буфете Тенишевского училища, уже в семнадцать лет вступает в РСДРП. В дни Октября в Петрограде он берёт а руки винтовку и становится красногвардейцем.

В июле 1918 года, когда Савинков, полковник Перхуров и группирующиеся вокруг них контрреволюционные элементы подняли в Ярославле восстание против Советской власти, Чумбаров-Лучинский в составе отряда красной гвардии отправляется туда, а после подавления ярославского мятежа борется с контрреволюцией в Кологривском уезде Костромской

губернии.

Вернувшись оттуда в Петроград, Чумбаров-Лучинский просит послать его на открывшийся Северный фронт и становится агитатором политотдела шестой армии, вечно находясь в разъездах - при этом в самых трудных, на самые отдалённые и малодоступные участки огромного фронта. То он пробирается на Печору, куда, как писал в своих воспоминаниях командующий шестой армией А. Самойло, «не было почти ни дорог, ни перевозочных средств», и редактирует там газету «Зырянский край», то оказывается на другом конце фронта - на Северной Двине, где с безоглядной храбростью дерётся против шотландских стрелков и белогвардейцев и получает за боевую инициативу и быстрый успех благодарность командования.

Чумбаров-Лучинский проходит с шестой армией весь её боевой путь на Северном фронте и победоносно вступает вместе с первой дивизией в освобожденный от белогвардейцев и интервентов Мурманск.

Это происходит тринадцатого марта 1920 года. А вскоре после этого Фёдор Степанович Чумбаров-Лучинскай избирается секретарем Мурманской партийной организации.

Но в Мурманске Чумбарову-Лучинскому долго не удаётся задержаться. Уже в начале апреля он командируется в Москву, откуда Всероссийский Совет Пролеткульта направляет его как политработника, хорошо знакомого с условиями работы на Севере, в Архангельск для организации там Пролеткульта.

И вот Чумбаров-Лучинский в истрепанной красноармейской шинели со стареньким парусиновым портфелем под мышкой, в котором заключено всё его имущество, бредёт против ветра по белому полотнищу Северной Двины от вокзала на городской её берег.

Явившись в губисполком, Чумбаров-Лучинский тотчас включается в его работу. А работы в недавно сбросившем в море интервентов и белогвардейцев Архангельске невпроворот.

В том же апреле Чумбаров-Лучинский выступает докладчиком на конференции культурно-просветительных организаций города, становится во главе организованного им Пролеткульта, создаёт вслед затем с Г. Гущиным, Д. Ершовым и

Л. Циновским журнал «Красное Поморье», но узнав, что на юге активизируется чёрный барон Врангель, отпрашивается на Южный фронт, куда и уезжает со знакомой уже ему первой стрелковой дивизией.

На Южном фронте Чумбаров-Лучинский так же деятелен, как и на Северном, и вскоре становится редактором газеты тринадцатой армии «Красный воин».

Тут, однако, свалил его сыпняк, и он очутился в госпитале. Но лежать бездеятельным на положении больного в то время, когда кругом столько работы и так нужны люди, не в его характере. И недолечившись до конца, Чумбаров-Лучинский сбегает из госпиталя и возвращается в строй.

А в декабре того же 1920 года он примчался опять в Архангельск, где его вскоре избрали секретарем Архангельского комитета РКП(б).

В начале следующего двадцать первого года он редактирует третью в своей жизни газету: «Известия Архангельского губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов».

После этого Чумбарова-Лучинского избирают делегатом от архангельских коммунистов на десятый съезд партии. В первый же день работы съезда, восьмого, марта двадцать первого года, он слушает отчётный доклад Ленина, а несколько дней спустя в числе трехсот делегатов съезда уезжает на подавление контрреволюционного кронштадтского мятежа. В качестве политрука одной из атакующих рот он спускается на рыхлый лёд Финского залива, и при атаке форта номер два его настигает смертоносный снаряд мятежников.

Ф. Чумбаров-Лучинский был человеком многосторонне одарённым и редкостно обаятельным. Природа щедро одарила его не только богатствами душевными, но и весьма примечательной внешностью. Он был красив, высок, строен. Тёмно-каштановая живописная шевелюра, высокий лоб, чистые линии овала лица, прямой нос, чётко вырезанные губы, округлый подбородок, большие задумчивые глаза - всё в нём было удивительно гармонично и привлекательно. Свободная вельветовая блуза или косоворотка с расстёгнутым воротом казались на нём элегантной одеждой, в то время как на других это были только косоворотка и только блуза.

Фёдор Степанович обладал особым даром располагать к себе, особенно когда бывал на трибуне. Оратором он был превосходным, держался перед любой аудиторией свободно. Он никогда не выступал по бумажке и речи свои говорил, словно стихи читал. При этом не было в нём никакого актёрского наигрыша. На трибуне он был не актёром, а поэтом. Речи его всегда захватывали, были доходчивы и вели слушателей туда, куда он сам стремился всем своим юным и одухотворённым существом.

Двадцать три года Фёдору Степановичу исполнилось незадолго до его гибели. Всего двадцать три года, а за плечами шесть лет партийного стажа и огромная и прекрасно прожитая жизнь, участие в боевых действиях в двух армиях - шестой и тринадцатой, на двух фронтах - Северном и Южном, секретарство в парторганизациях двух городов - Мурманска и Архангельска, редактирование трёх газет, организация журнала и Пролеткульта, издание книги стихов, доклады, конференции, съезды, беспрерывные переезды и борьба, борьба, борьба…

Из обстоятельной статьи Л. Скепнер, напечатанной в 1969 году в журнале «Север», я почерпнул многое из того, что рассказал о Фёдоре Степановиче Чумбарове-Лучинском. Много интересного сообщил мне о нём друг и соратник его, поэт Дмитрий Ершов.

А теперь возвратимся к прерванному рассказу о первых шагах первого литературного содружества в стенах архангельского Пролеткульта.

Говоря о тех, с кем были связаны и мои первые шаги в литературе, мне хотелось бы прежде других помянуть добрым словом Сергея Голубова.

Помню, как на одном из наших литературных сборищ Сергей Голубов читал только что написанный им и, насколько мне известно, первый свой рассказ «Швейцар Морковин».

Рассказ был добротно, плотно и жизненно выписан, но, каюсь, мне подумалось тогда, что от автора нельзя ожидать очень многого: слишком уж показался мне рассказ приземлённым и, если можно так выразиться, слишком реалистичным. По счастью, я ошибся, как это, впрочем, нередко случалось со мной в этой

жизни. Я не учёл того, что это первая вещь автора и что его боязнь уйти от жизни живой вполне оправдана и плодотворна.

В этом я убедился, прочтя много позже роман Сергея Голубова «Багратион». Он вышел в свет в 1943 году. Шла, как пелось в хорошей песне тех дней, «война народная, священная война», и напоминание о подвиге народа в Отечественной войне 1812 года было и своевременно, и вдохновляюще.

Роман «Багратион» написан широко, объёмно, с полным знанием материала, которым автор владеет свободно и умело. Книга сразу пришлась по душе читателю и имела большой и заслуженный успех. Я радовался успеху земляка, хотя к тому времени он жил уже в Москве, где в 1962 году и умер.

Работал Сергей Голубов до самой смерти усердно, много и хорошо. С годами он стал видной фигурой среди исторических романистов. Его романы-биографии очень точны и чётки по рисунку, очень выразительны и достоверны по материалу. Читая их, веришь, что В. Баженов, И. Ползунов, Д. Карбышев, декабристы именно таковы, какими их рисует автор, что именно так они думали и действовали и не могли думать и действовать иначе.

Я рад, что знал автора их молодым и начинающим, что глядел в его светлые глаза и говорил пусть, может быть, не совсем точные и убедительные вещи о его ранних работах, но уверен, и эта уверенность как-то согревает меня, что беседы эти не вовсе пропали даром, а, возможно, оставили что-то доброе в его душе.

Литературная группа при Пролеткульте, возникшая вместе с самим Пролеткультом в апреле 1920 года, была, как я уже говорил, первым объединением писателей в Архангельске.

На смену ему летом 1923 года явилась архангельская группа «Октябрь». Как сообщает Ю. Дюжев в своей большой статье «Так начинался литературный Архангельск», напечатанной в «Правде Севера» седьмого июня 1969 года, «Кружок «Октябрь» просуществовал немногим более года. На собрании, состоявшемся 28 декабря 1924 года, архангельские литераторы, учитывая изменившуюся обстановку, желая повысить действенность работы, вместо прежнего литературного кружка «Октябрь» решили организовать «Архангельский литературный

кружок при газете «Волна». В кружок вошли Жилкин, Калашников, Просвиряков, Красёв, Ершов, Лягин; Притчин, Белов, Маккавеев и другие авторы».

Наследником литературного кружка при газете «Волна» Ю. Дюжев называет Архангельскую ассоциацию пролетарских писателей, просуществовавшую вплоть до роспуска РАППа в 1932 году и последующей организации в Архангельске отделения Союза советских писателей.

Ещё буквально несколько слов о статье Ю. Дюжева, которую я цитировал. Статья полезна и основательна. Напрасно только статью свою автор назвал «Так начинался литературный Архангельск». Начинался он не так. Не «…летом 1923 года в Архангельске возникло первое писательское объединение», как сказано в самом начале дюжевской статьи, а, как я уже говорил, тремя годами раньше - вместе с организацией в Архангельске Пролеткульта, то есть в апреле двадцатого года. Это могут засвидетельствовать и ныне живущие члены литературного объединения Пролеткульта Д. Ершов и В. Жилкин. Кроме того, и я собственной скромной персоной являюсь, так сказать, неопровержимым доказательством существования объединения архангельских писателей при Пролеткульте в двадцатом году, ибо лично неоднократно читал свои стихи на собраниях этого нашего объединения.

А теперь, покончив с полемическим отступлением, возвращусь к продолжению рассказа о литературном Архангельске и архангельских литераторах. Надо сказать, что из Архангельска и Архангельской губернии вышло много писателей. Кроме упомянутых мной С. Голубова, П. Калашникова, В. Жилкина, Л. Циновского, Д. Ершова и других, в Архангельске рождался, как писатель, Леонид Леонов, начинавший своё творчество со стихов, которые печатал в газете «Северное утро», издававшейся его отцом.

Делали свои первые шаги на Севере и многие другие, ныне известные писатели. Александр Серафимович, находясь в царской ссылке сперва в Мезени, а потом в Пинеге, именно здесь написал первые свои рассказы «На льдине», «В тундре», «На плотах».

В Пинеге же отбывал ссылку до 1912 года и Александр Грин. И кто знает, не эти ли мрачные годы, проведённые в заваленной снегами, тёмной избе на краю света, породили мечту о вольных

солнечных городах Зурбагане и Гель-Гью и заставили его звать в своих рассказах и повестях в романтическое приманчивое далеко?

Почти полтора года, до марта 1917, жил и работал в Архангельске Филипп Шкулев - один из первых пролетарских поэтов, автор известной всем песни «Кузнецы» («Мы кузнецы, и дух наш молод…»).

С ноября 1928 до марта 1930 года работал в Архангельске сотрудником местной газеты Аркадий Гайдар. Тогда он и написал «Школу», с которой начался его большой литературный путь. Отрывки из гайдаровской «Школы» впервые печатались в «Литературном Севере», являвшемся приложением к архангельской областной газете «Волна».

Родился в Шенкурском районе и долгое время жил и работал в Архангельске поэт Иван Молчанов, вышедший на всесоюзную трибуну ещё в двадцатые годы.

В деревне Веркола Карпогорского района родился и рос до восемнадцати лет отличный прозаик Фёдор Абрамов - автор широко известных романов «Братья и сёстры», «Две зимы и три лета», повести «Пелагея», посвящённых родному Пинежскому краю. Я очень высоко ценю эти его вещи, как, впрочем, и многое другое из того, что написал Абрамов.

Но из всего написанного им мне всё же больше другого по душе «Жила-была сёмужка». Автор называет эту свою вещь северной былью, хотя с большим, казалось бы, основанием её можно назвать сказкой.

Однако, позвольте, как же так: и быль и сказка. Может ли такое быть? По-моему, может. Быль (жизненный опыт), ставшая сказкой, то есть явлением искусства, и сказка, проделавшая обратный путь от искусства к воплощённому в ней жизненному опыту - мне эти обращения одного ряда явлений в другой кажутся естественными и правомерными. Сам Абрамов очень убедительно утверждает эту правомерность в обеих её ипостасях.

Есть у Фёдора Абрамова такой рассказ - «В Питер за сарафаном». Автор сидит в избе одной из пинежских деревень. Он пришёл к хозяину этой избы, чтобы записать от него воспоминания о гражданской войне на Пинеге. В избу вошла соседка Филипьевна - «маленькая ветхозаветная старушка». Из

дальнейшего разговора, завязавшегося между всеми присутствующими, автор узнал от хозяйки избы Марьи Петровны, что Филипьевне в дореволюционное время довелось сходить от Пинеги в Петербург пешком…

«Я перевёл взгляд на Марью Петровну, - рассказывает дальше автор, - затем снова посмотрел на старушку. Да не морочат ли они меня? Ведь это же сколько? С Пинеги до Двины, с Двины до Вологды… Свыше полутора тысяч километров! И вот такая крохотуля промеряла этакое расстояние своими ногами… Но ещё больше удивился я, когда услышал, что старушка ходила в Питер - за чем бы вы думали? - за сарафаном…»

Автор с помощью хозяйки избы уговаривает Филипьевну рассказать об этом хождении в Питер. Вслед за этим следует рассказ самой Филипьевны - рассказ безыскусственный и трогательный. Начинается он с того, как бедная, обтрёпанная четырнадцатилетняя девчушка Олька увидела однажды у дочери богатея Марьюшки присланный ей жившим в Питере братом сарафан. «И такой баской сарафан прислал сестре - я дыхнуть не могу. Алый, с цветами лазоревыми - как теперь вижу…»

В ближайший крестьянский праздник подружки-подростки «вышли впервой на взрослое игрище». Некрасивая Марьюшка, надевшая свой цветастый петербургский сарафан, «нарасхват пошла», а на бедную Ольку в ее застиранном старом «синяке» никто из парней и смотреть не хотел.

«Бедно мне стало, - говорит Филипьевна, дойдя в своих воспоминаниях до этого места. - Вот и думаю: мне бы такой сарафан! - боюсь в девках засидеться. А откуда такой сарафан возьмёшь? Житьё-то у родителей не богато. Братьев нет. Вижу, самой смекать надо. А где? Куда девку-малолетку возьмут? Ни в лес, ни в работницы. Да и сарафан-то питерский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не питерские - дак робята-то не так кидаются. Ну и порешила: пойду в Питер за сарафаном…»

Дальше Филипьевна подробно пересказывает все свои мытарства, все приключения своего горького полуторатысячевёрстного хождения морозной зимой с рублём медными деньгами в кармане, данным на дорогу отцом. Рассказ этот о путешествии бедной девчонки в Питер за сарафаном - самая доподлинная быль. Но в то же время он смахивает на фантастическое путешествие верхом на чёрте в Петербург за

царскими черевичками для Оксаны, которое совершил кузнец Вакула в гоголевской «Ночи перед рождеством».

В сущности говоря, Фёдор Абрамов идёт тем же, что и Гоголь, путём и, искусно замешивая вымысел на сущем, творит одновременно и быль и сказку. И где кончается одно и начинается другое, не всегда и разберёшь. Да и так ли уж это важно? Не важней ли чувства, какие вызывает повествование?

Сейчас Абрамов живёт в Ленинграде, и даже в одном со мной доме. Я рад такому доброму соседству. А Фёдор Александрович и в самом деле добрый сосед. Вот недавно подарил мне свой только что вышедший после журнальной публикации отдельной книгой роман «Две зимы и три лета».

Живя в Ленинграде и став истым ленинградцем, Абрамов не перестал быть пинежанином. Каждое лето наведывается он на родную Пинегу. А зимой Пинега сама к нему приходит маленькими пакетами «Пинежской правды».

Говорят, северные земли скудны. Не верьте. Неправда. Богат Север. И всечасно родит людей, богатых душой и богатых талантом, что в общем одно и то же.

И сегодня живут и работают в Архангельске отличные писатели, среди которых первым я с уважением и приязнью назвал бы Евгения Коковина - автора широко известной и в нашей стране и по многим иноязычным переводам за её рубежами трилогии «Дети моря», повестей «Вожак санитарной упряжки», «Динь-Даг», «Белое крыло» и многих других книг, любимых читателями. Но о Евгении Коковине и других сегодняшних писателях Архангельска надо говорить особо и подробно, что я с удовольствием однажды и сделаю.

ДВАЖДЫ ДРУГ

Первое публичное выступление молодого поэта Дмитрия Ершова со своими стихами было не слишком удачным. Состоялось оно в январе 1919 года, сразу после убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Им и посвящено было стихотворение, с которым автор решил выступить перед публикой. «Читал я его на митинге в деревне, - вспоминает Дмитрий Ершов в одной из своих книг, - докладчику крестьяне дружно аплодировали, а по поводу моего, непривычного для деревенских слушателей, выступления угрюмый бородач сказал так, что все услышали: «И этому хлопать будем?»

Но, как сообщает сам Ершов, «рукоплесканий не последовало». Заключая это чистосердечное признание, Ершов с очевидным, хотя и неслышным нам вздохом добавляет: «Я сразу поспешил ретироваться…» И тут же упрямо решительное: «Но стихи писать продолжал».

Впрочем, стихи скоро пришлось на время оставить и, отложив перо в сторону, взять в руки винтовку. Дмитрий Ершов уходит добровольцем в Красную Армию и отправляется на Восточный фронт.

Вот как впоследствии он описал свой отъезд на Восточный фронт в стихотворении «Мать»:

Ревела старая,

ревмя ревела:

- Али на это

я вас родила?

Али расстаться

вот так хотела,

Чтобы последней

сойти в могилу?

И причитала навзрыд, тоскливо:

- На свете есть ли

тебя милее?

Ты мой хороший,

ты мой красивой!

Меня -

старуху -

кто пожалеет?…

Когда же поезд пришел к перрону,

Спросила,

словно

с ножом в гортани-

- И брата станешь?

- Нет, мать, не трону…

Затем добавил:

- Как., он… не станет…

И вся забилась, и, как в припадке,

На мне, казалось,

застыть решилась.

- Вот так-то,

так-то

вы все… о матке…

И сразу

молча

к ногам свалилась.

…Когда, прощально платком махая,

Смотрел я из окна купе,

Она вдогонку:

- Жду… жду письма я!

Потом:

- Холодной воды… не пей!

Этому стихотворению предшествовали следующие авторские строки: «О матери моей, Прасковье Ивановне, провожавшей меня в 1919 году на Восточный фронт, где я мог встретиться, как с противником, с родным братом, жившим в Сибири». А прочитал их автор в помещении архангельского Пролеткульта в 1921 году. Я не знаю, встретился ли автор «Матери» с братом на Восточном фронте, но оттуда попал уже на Северный.

Вот как сам Дмитрий Алексеевич рассказывает об этом и о последующих за тем событиях в автобиографическом очерке, присланном мне недавно при большом и душевном письме: «После возвратного тифа, которым я заболел на Восточном фронте, меня осенью 1919 г. направили в Вологду. Я стал красноармейцем 1 роты запасного батальона 18 стрелковой дивизии.

Ещё в 1918 году я пристрастился писать в газеты заметки и стихи. Писал их и в Костромскую газету, когда лечился в инфекционной больнице. А будучи в Вологде, чуть ли не каждый день приносил их в редакцию газеты политотдела 6-й армии «Наша война». Редактор газеты - бывший киевский наборщик, большевик с 1905 года Флор Емельянович Глущенко встречал меня приветливо. Всё, что я приносил, печаталось на другой день без каких-либо изменений. И это ещё больше подзадоривало меня.

Тогда секретарь редакции Стёпа Горбунов, писавший стихи лучше меня, говорил, что Ф.Е. Глущенко слабо в них разбирается, но хочет, чтобы в каждом номере газеты было хоть одно стихотворение. А я иногда приносил и два. Я ещё не понимал, что торопиться не следовало, что стихи слабые, что это по существу рифмованная проза, что публикуется она за неимением лучшего».

В главе «Первые шаги», открывающей книгу Ершова «Большой друг рабселькоров», Дмитрий Алексеевич описывает, как развивались события в редакции газеты дальше: «Поскольку секретарь редакции Степа Горбунов, тоже писавший стихи, уезжал на курсы в Москву, Ф.Е. Глущенко предложил эту должность мне. Он хотел, чтобы в каждом номере газеты было стихотворение. Весь штат армейской ежедневной газеты состоял из редактора, секретаря и корректора. Я обязан был, кроме всего прочего, присутствовать при вёрстке газеты, выпускать её. И это особенно устрашило меня.

- Как же я справлюсь с этим, когда и в типографии ни разу не бывал?

- Ничего, - ободрял Флор Емельянович, - я всё покажу. - То ж самое лёгкое. Не стихи писать…

Мои успехи в поэзии редактор чрезмерно преувеличивал. Из стихов 1918-1919 годов ни одно не выдержало бы теперь даже самой благосклонной критики, но благодаря именно этим стихам я стал газетчиком. Работа эта настолько захватила меня, что я не замечал, как летели дни и недели».

В «Нашей войне» Дмитрий Ершов проработал до тех пор, пока существовала эта газета, то есть до апреля 1920 года. Печатался он в ней почти каждый день. А в некоторых номерах газеты было и по несколько материалов, принадлежащих перу Ершова - он же Ёрш, Далер, Е.Р. Шов, Дед Митрий, Е. Двинский.

Друг Дмитрия Ершова Фёдор Чумбаров-Лучинский, который на фронте в сентябре 1918 года выдавал вступившему в партию красноармейцу Ершову партбилет, писал, что поэт должен быть и певцом, и борцом, и бойцом. Дмитрий Ершов был и певцом, и борцом, и бойцом. Вот предо мной на столе стихи Дмитрия Ершова времён гражданской войны, по большей части - автографы, изредка - вырезки из газеты «Наша война». Они написаны на клочках бумаги, иногда на обеих сторонах. Часть из

них прислал мне по моей просьбе сам Дмитрий Алексеевич, живущий сейчас в Курске, остальные раздобыты у других. Только что редактор Архангельской областной газеты «Правда Севера» И.М. Стегачев по моей просьбе прислал мне «Стихотворную хронику», написанную Ершовым для газеты к пятидесятилетию со дня освобождения Архангельска от интервентов и белогвардейцев. Вот отрывок из неё, дающий представление и о Ершове, и о его стихах, и об эпохе, которую они знаменуют:

«При вёрстке газеты нередко оказывалось, что набранных материалов для очередного номера газеты недостаточно. Чем заполнить пустующее место, иногда 5-10 строк? Шпаций для разбивки текста было очень мало. Метранпаж требует дать для безотлагательного набора подходящий лозунг.

- Стихотворный можно? - спрашиваю.

- Почему бы нет. Это ещё лучше!

И тут же даю в набор такие, например, строчки:

Напрягайте всю волю и силы -

Враг наёмный стоит у могилы!

Разобьём быстро белую рать -

Кончим в этом году воевать.

В стихотворной хронике находили отражение и важнейшие события на других фронтах. Эти победы Красной Армии вдохновляли бойцов Севера и как бы подзадоривали их. В газету всё чаще приходили письма с вопросом:

- Когда же мы прогоним белых?

Газета обозревает фронты и заключает:

Растёт республика Советов!

Белогвардейцев песня спета:

Наш Юг, Урал и вся Сибирь…

Теперь даёшь Архангельск нам!

Даёшь, или захватим сами

И к беломорским берегам

Расчистим путь себе штыками.

Стихи, процитированные мной, написаны в январе - феврале 1920 года, в самый канун освобождения Архангельска, и подписаны «Красноармеец Ершов», или «Кр-ц Д. Ершов».

Когда читаешь эти стихи, невольно вспоминаешь Маяковского: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо».Красноармеец Дмитрий Ершов приравнял перо к штыку.

Стихи Ершова вырастали, как цветы из земли, из его кровного дела. Они, конечно, не походили на гурманские кондитерские изделия, а были чёрным солдатским хлебом.

Сам Дмитрий Ершов отзывается о своих стихах весьма критически. Я уже процитировал его высказывание о том,

что «из стихов 1918-1919 года ни одно не выдержало бы теперь даже самой благосклонной критики». Но я не могу согласиться с такой самооценкой. Военные стихи Дмитрия Ершова для эпохи ожесточенных боёв за революцию, за самоё существование Советского государства на заре его жизни - явление закономерное и значительное. Они - знамение эпохи, свидетельство эпохи, документ эпохи. Стихи эти прошли, прошагали с красноармейцем Дмитрием Ершовым по тяжким фронтовым дорогам гражданской войны и вместе с поэтом пришли в отвоёванный у врагов революции Архангельск.

Там я с этими стихами и познакомился, там подружился и с их автором. Это было в 1920 году. Мы были однолетками, но мы были очень несхожи и характерами и стихами. Мои безудержно романтические стихи, в изрядной степени шумные и буйные, вовсе не походили на прочноногие, крепко приверженные земле, делам её, боевому её дню стихи Мити Ершова. Но различие в строе и характере стихов наших как-то не мешало быстро возникшей меж нами дружбе. Чаще всего встречались мы на наших литературных вечерах в Пролеткульте. Но случалось, Митя приходил ко мне в мою одиночную, холостую келью на

Петроградском проспекте, а не застав дома и просмотрев раскрытую тетрадку с моими стихами (у меня в те дни все было постоянно раскрыто - и двери комнаты, и сердце, и тетрадки со стихами), приписывал карандашиком под моими незрелыми творениями что-нибудь метко-усмешливое (таков уж был характер Мити).

Возвратясь домой и найдя подобную приписку к моим стихам, я, само собой разумеется, вначале приходил в негодование, а потом, в одиночестве пошагав по комнате, зачёркивал и Митины примечания к стихам и… сами стихи.

Дружба наша с Митей Ершовым оборвалась осенью 1922 года, когда я уехал из Архангельска в Петроградский университет, чтобы, наконец, надеть студенческую тужурку, сшитую летом восемнадцатого года, когда я получил извещение о зачислении меня в студенты.

В августе 1918 года я должен был ехать в Петроград, так как первого сентября начинались занятия в университете. Увы, всё вышло не так, как я предполагал. Со мной произошло то, что я позже приписал одному из героев моего романа «Друзья встречаются» - Илюше Левину. Приход интервентов второго августа и совершившийся накануне ночью белогвардейский переворот захлопнул меня в Архангельске, как мышь в мышеловке. Писать в белогвардейском Архангельске я не мог и не желал, и муза моя умолкла в ожидании лучших времён.

Эти лучшие времена пришли, когда в городе вновь появились красные войска. С ними появился на моём горизонте и Митюша Ершов и его товарищи. Два года мы шли рядом, хотя каждый вышагивал на свой манер. В 1922 году мы расстались. Судьба надолго развела нас, и каждый шёл уже своим путём в трудном и общем движении вперёд. Некоторые этапы нашего пути были особенно трудны, и, понятно, труднейшими из труднейших оказались годы сорок первый - сорок пятый.

На третий день войны (как я узнал двадцать восемь лет спустя), на день позже, чем Дмитрий Ершов, я ушел на фронт в качестве военного корреспондента.

О романах и прочих довоенных литературных роскошествах на четыре с половиной года забыл совершенно и начисто. Делал чёрную газетную работу, писал оперативные корреспонденции,

статьи, очерки, памфлеты, портреты отличившихся солдат и офицеров, тактические материалы, всё, чего требовала газета, чего требовала война. Ничего, кроме неё, её нужд, её интересов, я в те годы не знал и знать не хотел. Написал за эти годы около шестисот корреспонденций. Приобрёл множество фронтовых друзей, с которыми не теряю связи до сею дня - переписываюсь, вижусь на слётах ветеранов полков и дивизий.

Много друзей я нашёл в тяжкие военные годы, но многих из них и потерял навсегда: кого-то настигла вражья пуля или снаряд, кто-то потерялся в сумятице военных перемещений.

Старого архангельского друга Митю Ершова я потерял из виду ещё в двадцатых годах. А потом кто-то сказал мне, что он погиб в Отечественной.

Но, по счастью, слух оказался ложным, и Дмитрий Алексеевич вдруг отыскался в Курске. Тотчас полетели письма из Ленинграда в Курск и из Курска в Ленинград.

Оказалось, что Ершов после моего отъезда из Архангельска пробыл там ещё четыре года, ведя большую партийную работу и редактируя губернскую газету «Волна» и одновременно губернскую же сельскохозяйственную газету «Северная деревня».

В ту пору и произошла примечательная история с корнеплодами, о которой я должен рассказать несколько подробней.

Проходивший в марте 1925 года в Архангельске десятый губернский съезд Советов указал на «ясно наметившийся животноводческий уклон» в сельском хозяйстве Архангельской губернии и подчеркнул важность проблемы кормовой базы. В частности, съездом рекомендовалось культивировать корнеплоды, которыми в губернии пренебрегали и которых крестьяне не сеяли. Считалось почему-то, по какой-то обветшалой традиции, что разводить корнеплоды, в том числе и очень выгодный турнепс, ни к чему и даже просто невозможно на Севере.

Тогда за пропаганду разведения в губернии турнепса и других корнеплодов взялась редактируемая Ершовым газета «Волна». Сговорившись с госсельскладом, имевшим большое количество семян корнеплодов, редакция «Волны» разослала всем кружкам рабселькоров в губернии пакеты с семенами и

инструкции по посеву и уходу за посевами.

Рабселькоры живо откликнулись на этот почин и осенью собрали отличный урожай турнепса, отдельные корни которого достигали семи с половиной килограммов.

На будущий год посевы турнепса расширились, и, следуя примеру архангельской «Волны», центральная «Крестьянская газета» разослала селькорам семена корнеплодов по двум тысячам адресов.

Центральные газеты «Правда», «Известия», «Беднота» на своих страницах высоко оценили инициативу и опыт архангельской «Волны» по внедрению корнеплодов в практику сельского хозяйства и отметили добрую работу её редактора. В апреле 1926 года Дмитрия Ершова переводят в Орёл для редактирования там губернской газеты, а в августе того же года Дмитрий Алексеевич получает от ответственного секретаря газеты «Правда» Марии Ильиничны Ульяновой такую телеграмму: «Орловская «Правда» Ершову. Состоялось постановление ЦК о переводе вас «Правду», ждем срочно, телеграфируйте. Ульянова».

Семь лет, которые в дальнейшем Дмитрий Ершов провёл, работая под непосредственным руководством Марии Ильиничны, сперва в «Правде», где он был заведующим отделом «Рабочая жизнь» и «Железным фондом» рабселькоров для оказания им в случае нужды материальной помощи, потом в ЦКК ВКП(б), а позже в Бюро жалоб Комиссии советского контроля при Совнаркоме в качестве заместителя Марии Ильиничны, стоявшей во главе Объединенного бюро жалоб (ОБЖ) народных комиссариатов РКИ СССР и РСФСР, оказались для него прекрасной жизненной школой. Даже само по себе общение с таким кристально-чистым, государственно мыслящим и душевным человеком, каким была Мария Ильинична Ульянова, дали Дмитрию Ершову неизмеримо много.

Мариэтта Шагинян, часто бывавшая в бюро жалоб и глубоко вникавшая в его работу, в одном из своих очерков, напечатанном в «Известиях» в июне 1933 года, назвала бюро жалоб «университетом Ильича». В этом университете «ректором» была сестра Ильича. И она свято хранила ленинские заветы, делая их краеугольным камнем в здании этого истинно народного «университета».

Работе бюро жалоб Мария Ильинична отдала свои последние годы жизни. Тут же, в рабочем кабинете, и оборвалась эта чудесная жизнь.

Вот как описывает эти тяжкие часы Дмитрий Ершов в своей книге, посвященной Марии Ильиничне: «7 июня 1937 года Мария Ильинична пришла в бюро жалоб с Московской областной партконференции уже в девятом часу вечера. Мне показалось, что она была несколько возбужденной, но в хорошем настроении, выглядела бодрой, улыбалась, шутила. Её секретарь Люба Новосёлова вышла куда-то, а Мария Ильинична хотела чаю и в поисках Любы заглянула во все комнаты, занимаемые бюро жалоб в первом этаже дома Совнаркома СССР. Направляясь в свой кабинет, она сказала:

- Где может быть наша Люба?

И запела:

Потеряла я колечко,

Потеряла я любовь…

- А вот и она идёт, - говорю, - да ещё и с чаем. Не иначе, как научилась мысли на расстоянии читать!

Я и помыслить не мог в тот момент, что так скоро оборвётся жизнь этой выдающейся дочери великого русского народа, самоотверженно боровшейся за его свободу и счастье, за коммунизм. Не успел я закончить беседу с одним из активистов бюро жалоб, как пришла Люба Новоселова, бледная, чрезвычайно взволнованная.

- С Марией Ильиничной плохо, - с трудом выговорила она.

Попросив посетителя обождать, я побежал в кабинет М.И. Ульяновой. Она сидела за письменным столом, опустив голову на руки. Её лицо побагровело от прилива крови.

- Что с вами? - спросил я.

Ответа не последовало. Мария Ильинична была в бессознательном состоянии.

Немедля звоню в кремлёвскую больницу и Н.К. Крупской. Врачи и Надежда Константиновна приехали через несколько минут.

Марию Ильиничну уложили на диване в её рабочем кабинете».

Мария Ильинична умерла пять дней спустя на том же диване в своём рабочем кабинете, на который её уложили сразу после кровоизлияния. Жизнь её оборвалась на полном рабочем ходу - прекрасная жизнь, образец служения делу своего народа до последнего вздоха.

Легко понять чувства Дмитрия Алексеевича Ершова, кончающего свою книгу «Большой друг рабселькоров» словами: «Я счастлив тем, что до самой смерти Марии Ильиничны был её ближайшим сотрудником и заместителем по должности, пользовался её доверием и уважением. Это были лучшие годы моей жизни».

Кроме посвященной Марии Ильиничне книги «Большой друг рабселькоров», Дмитрий Ершов написал о ней ещё одну книгу - «Мария Ильинична Ульянова». Обе они лежат предо мной. Читаю дарственную надпись: «Старому другу…» Да. Вот оно как бывает в жизни. Старый друг… Пожалуй, даже дважды друг -двадцатых годов и сегодняшний.

СТЕПАН ПИСАХОВ И СЕМЁН МАЛИНА

Очень своеобычной и примечательной фигурой среди архангельских писателей был Степан Писахов. Впрочем, был он не только писателем, но и сказочником, и живописцем, и путешественником.

Чтобы сразу дать представление о том, каков Степан Писахов, приведу одну его небольшую сказку «Как поп работницу нанимал»:

«Тебе, девка, житьё у меня будет лёхкое, - не столько работать, сколько отдыхать будешь!

Утром станешь, ну, как подобат, до свету. Избу вымоешь, двор уберёшь, коров подоишь, на поскотину выпустишь, в хлеву приберёшь и - опи-отдыхай!

Завтрак состряпашь, самовар согреешь, нас с матушкой завтраком накормишь и - спи-отдыхай!

В поле поработаш али в огороде пополешь, коли зимой - за дровами али за сеном съездишь и - спи-отдыхай!

Обед сваришь, пирогов напечёшь, мы с матушкой обедать сядем, а ты - спи-отдыхай!

После обеда посуду вымоешь, избу приберёшь и - спи-отдыхай!

Коли время подходяче, в лес по ягоду, по грибы сходишь, али матушка в город спосылат, дак сбегашь. До городу - рукой подать, и восьми вёрст не будет, а потом - спи-отдыхай!

Из «города прибежишь, самовар поставишь. Мы с матушкой чай станем пить, а ты - спи-отдыхай!

Вечером коров встретишь, подоишь, корм задашь и - спи-отдыхай!

Ужну сваришь, мы с матушкой съедим, а ты - спи-отдыхай!

Воды наносишь, дров наколешь - ето к завтрему, и - спи-отдыхай!

Постели наладишь, нас с матушкой спать повалишь. А ты, девка, день-деньской проспишь-проотдыхашь - во што ночь-то будешь спать?

Ночью попредёшь, поткёшь, повышиваешь, пошьёшь и опять - спи-отдыхай!

Ну, под утро белье постирашь, которо надо - поштопашь да зашьёшь и - спи-отдыхай!

Да ведь, девка, не даром. Деньги платить буду. Кажной год по рублю! Сама подумай. Сто годов - сто рублёв. Богатейкой станешь!»

Сказка «Как поп работницу нанимал» - сказка старая, и пришла к Писахову из Пинеги. Сам Писахов, хотя и коренной архангелогородец (тут родился, тут и умер), но говорил, что у него «деды и бабки со стороны матери родом из Пинежского района». Надо сказать, что Пинега издавна славилась сказочниками и песенниками. Пинега - заповедный край стародавней русской сказки, а в писаховском роду она была в особом почёте.

«Мой дед был сказочник, - писал Степан Григорьевич с гордостью. - Звали его сказочник Леонтий. Записывать сказки тогда никому и в голову не приходило. Деда Леонтия я не застал. Говорили о нём, как о большом выдумщике - рассказывал всё к слову и всё к месту».

Немалым выдумщиком был и сам Степан Григорьевич, иной раз и безудержным выдумщиком. Я как-то заговорил с ним об этом.

- Что это вы, Степан Григорьевич. Мороз у вас до семисот градусов доходит, через Карпаты вы на корабле переправляетесь, а по реке вскачь мчитесь. Дома у вас приплясывают и, сорвавшись с места, на свадьбу в другую деревню торопятся. Налима вы по улицам водите, как собаку, на цепочке, а волков по полсотни к избе своей волочете, да ещё десяток на себя, на манер шубы, надеваете. Кстати, волки эти мороженые, а замерзли потому, что

мороз не то на сто, не то на двести градусов хватил. А сами вы, рассердясь на волков, так разгорячились, что вода в бутылке, которая была у вас в кармане, несмотря на неистовый мороз, вскипела. Когда вы вернулись из лесу, мужики об вас цигарки прикуривали. Потом от вашего жару баня грелась. Словом, такое у вас, что только руками разведёшь.

Но разводить руками мне не довелось. Не успел. Писахов опередил, и сам руками замахал. Потом вскочил с места и спросил, заглядывая снизу вверх мне в глаза:

- Зато ведь не соскучились, читая сказки мои?

- Чего нет, того нет, - отозвался я, смеясь. - Соскучиться с вами невозможно - ни с вами, ни с вашими сказками.

- Вот-вот, - обрадовался Писахов. - Скука же - вреднейшая вещь. От неё и помереть недолго.

- Пожалуй, - согласился я, но, желая выведать от Степана Григорьевича самое заветное о его сказках, продолжал свой лукавый диалог. - Ведь за всякой, даже самой фантастической народной сказкой скрыты реальные соотношения людей, вещей, событий…

- А я что, враль, по-вашему? - вскипел Степан Григорьевич, яростно тряся своей рыжей шевелюрой. - А помните, как кончается эта самая сказка о мороженых волках? Я притащил к своей избе полсотни мороженых волков да и «склал костром под окошком. И только примерился в избу иттить - слышу: колокольчик тренькат да шаркунки брякают. Исправник едет! Увидал исправник волков и заорал дико (с нашим братом мужиком исправник по-человечески не разговаривал):

- Што ето, - кричит, - за поленница?

Я объяснил исправнику:

- Так и так, как есь, волки морожены, - и добавил: - Теперича я на волков не с ружьём, а с морозом охочусь.

Исправник моих слов и в рассужденье не берёт, волков за хвосты хватат, в сани кидат и шчёт ведет по-своему:

В шчет подати,

В шчет налогу,

В шчет подушных,

В шчет подворных,

В шчет дымовых,

В шчет кормовых,

В шчет того, сколько с ково.

Ето для начальсва,

Ето для меня,

Ето для того-друтово,

Ето для пятово-десятово,

А ето про запас!

И только за последнево волка три копейки швырнул. Волков-то полсотни было.

Куды пойдёшь - кому скажешь? Исправников-волков и мороз не брал».

Писахов, пометавшись по комнате, остановился и спросил сердито и в, то же время хитровато:

- А это всё как вам покажется - не действительные отношения людей того времени: это самодурство грабителя-исправника и беспомощность мужичка-охотника, который за бесценок, за эти самые проклятые три копейки, должен был отдавать пушнину, добытую им в страшные морозы? Это что - правда? Или пустая выдумка?

- Сдаюсь, - сказал я, поднимая руки.

- То-то, - сказал удовлетворённо Степан Григорьевич, усаживаясь в низенькое ветхое креслице и победно оглядываясь.

Однако через минуту он уже снова был на ногах.

- А вы знаете, про это путешествие на корабле через Карпаты я от Сени Малины записал, не сразу, правда, а много позже по памяти. Он в деревне Уйме жил, под Архангельском. Его все за враля считали, и всерьёз никто не принимал, а это, знаете, какой сказочник, какой придумщик был. Я теперь все сказки от его имени сказываю. И Сеню Малину вралём не считаю. Придумка - не враньё.

К Сене Малине мы с вами ещё вернёмся в конце этой главы. А сейчас мне хочется досказать то, что было в моё посещение Степана Писахова, во время которого случился наш спор о придумке. Спорили, впрочем, мы недолго. Слишком импульсивен и подвижен был Степан Григорьевич, слишком любил сказывать, чтобы надолго увлечься теоретическими умствованиями.

Прервав себя на полуслове, Степан Григорьевич опять уселся в креслице, придвинулся ко мне вплотную и, сверкнув усмешливыми щёлками глаз, стал рассказывать, как одна девка-пинежанка, беседуя с соседкой, говорит ей:

«Утресь маменька меня будить стала, а я чую и сплю-тороплюсь».

Это «сплю-тороплюсь» очень нравилось Степану Григорьевичу, и он несколько раз повторил:

- Сплю-тороплюсь, сплю-тороплюсь… А? Хорошо ведь? Прекрасно? Верно?

Конечно, верно. Это было в самом деле хорошо, прекрасно, превосходно. Но лучше всего была, пожалуй, та детская радость, с какой Степан Григорьевич принимал это прекрасное. Он весь светился, весь жил в этом своем непрерывном словотворчестве, я бы сказал, словонаслаждении, в постоянном радостном удивлении красотой народного слова.

Долго мы в тот вечер просидели в небольшой комнатке Степана Григорьевича на Поморской, двадцать семь. Было это в июле 1936 года.

Знал я Степана Григорьевича Писахова и до этого, хотя и не

близко: очень уж велика была разница в годах - когда я был ещё мальчишкой, Писахов был уже известным художником. В Архангельске дядю Стёпу знали решительно все. Коротенькая подвижная фигура его с большой головой, рыжей шевелюрой, рыжей бородкой, в надвинутой на уши старенькой шляпёнке с опущенными вниз полями знакома была всякому архангелогородцу. Он был живой исторической достопримечательностью Архангельска. Недаром же и сам он говаривал с гордостью, хотя и облечённой в шутейную форму: «Приезжие в Архангельск осматривают сперва город, потом меня».

Но надо сказать, что хотя все в городе знали Степана Григорьевича, однако далеко не все любили его. Он никогда не был гладеньким и обтекаемым. Его острое словцо, его пронзительные глазки и усмешливая улыбка могли и отпугнуть человека, особенно если этот человек был, что называется, «солидный». Впрочем, истины ради, следует отметить, что с начальством всех времён и всех рангов хитроумный остряк умел ладить.

Кстати, несколько слов об архангельском начальстве дореволюционных лет. Архангельск был городом особым, в котором и начальство случалось какое-то особое. Некоторые архангельские губернаторы увлекались краеведением, интересовались природой Севера, его этнографическими особенностями, промыслами, ремёслами, характерными для края, путешествовали по губернии. Губернатор Сосновский в 1909 году отправил Русанова на Новую Землю с экспедицией. Энгельгардт после поездки по Северу написал книгу «Северный край».

Один из губернаторов Архангельска середины девятнадцатого века, приходившийся дедом Льву Толстому, уйдя после губернаторства в отставку, дал даже одной из своих деревень название - Грумант. Так в те времена звали архипелаг Шпицберген, часть которого подлежала попечению архангельского губернатора, поскольку там жили русские колонисты и промышленники.

Степан Григорьевич Писахов всегда с неослабевающим интересом относился к изучению северных земель и морей. Он пользовался всяким удобным случаем, чтобы попасть на Крайний Север. В 1907 и 1909 годах он побывал на Новой Земле с экспедициями Русанова, в 1914 году выходил с экспедицией на

поиски Седова, Брусилова и Русанова.

В 1924 году сестра моя Серафимиа побывала на Новой Земле с экспедицией на парусно-моторном судне «Сосновец», которое вёл прославленный впоследствии капитан Владимир Воронин. Позже сестра писала мне: «С нами был и художник Писахов».

Из своих многочисленных поездок по Северу Степан Григорьевич вывез массу этюдов и картин, а также незабываемо яркие впечатления.

Писахов стал писателем позже, чем живописцем, и с его картинами я познакомился еще в девятьсот десятых годах. Полотна, которые висели по стенам комнаты, в которой мы сидели со Степаном Григорьевичем в тридцать шестом году, я видел лет двадцать до того на его выставке в Архангельске. И сейчас и тогда мне больше всего нравились две картины. Одна из них называлась «Цветы на Новой Земле».

Новоземельские пейзажи Степана Писахова отличались суровой сдержанностью колорита. Ничего броского, ничего эффектно яркого. Да и что яркое может отыскаться в этом краю материкового льда полукилометровой толщины, в этой арктической пустыне? Только в короткое - меньше двух месяцев - и холодное - до двух градусов тепла - лето кое-где пробивалась чахлая травка да лишайники. И это почти всё, что красило здесь землю.

И вдруг - ярко-красная кучка нежных милых цветов в этой суровой ледяной пустыне. Откуда она? Как сюда попала? Да я попала ли? Не плод ли это фантазии художника, склонного к фантастической придумке? Я спросил об этом Степана Григорьевича, и он ответил, что такие цветы действительно растут на Новой Земле.

Да, тут придумки не было. Насколько безудержно придумчив и фантастичен был Писахов в своих сказках, в своём писательстве, настолько же сдержан и реалистичен он был в своей живописи. Странно? Вероятно. Но подобного рода странности в людях искусства, полных противоречий и свободы воображения, давно уже перестали удивлять меня.

Помнится мне и другая картина Писахова, поразившая меня. На ней изображено было низменное прибрежье. И тут же -

аэроплан с кабиной, окрашенной в ярко-красный цвет.

Аэроплан в пейзаже, особенно северном, был явлением чрезвычайным и невиданным. Технику в те годы живописцы не писали. Она была антиживописна, антиприродна и ни в какие художнические, а тем более пейзажные ворота не лезла.

Вообще она была неосвоенной диковинкой и художнически ещё никак не осмысливалась. Архангельск впервые увидел аэроплан в 1912 году, когда к нам для демонстрации полётов приехал один из первых русских авиаторов Александр Васильев, за год до этого победивший всех других авиаторов в казавшемся тогда гигантском перелёте Петербург - Москва.

Для маленького провинциального Архангельска тот летний полдень, когда на плацу перед казармами Запасного архангелогородского батальона крошечный самолётик, разбежавшись по полю, вдруг взмыл в воздух, был часом великого торжества и решительного, дерзкого, невиданного движения вперёд.

Помню, с каким волнением я, четырнадцатилетний мальчонка, разинув рот, неотрывно смотрел на летящую прямо над моей головой страшную, грохочущую и в то же время игрушечно-хрупкую стрекозу, внутрь которой как-то хитро и неудобно был вдвинут крохотный и безумно смелый человечек в кожаной куртке, кожаных крагах и кожаной кепке. Это было фантастично, как фантастичен был… писаховский Сеня Малина.

Признаться, я никогда не был в полной мере уверен, что Сеня Малина в самом деле существует и что живёт он, как говорил мне и как позже писал Степан Григорьевич, в деревне Уйма под Архангельском. Я бывал в Уйме, но не встречал Сени Малины и ни слова ни от кого в деревне о нём не слыхал.

Я хотел было выложить Писахову свои сомнения на этот счёт при встрече, да неловко как-то стало сделать это. Стеснительно было в присутствии Степана Григорьевича усомниться в существовании Сени Малины, и я умолчал о своих сомнениях, оставив их при себе.

Спустя два года после моего разговора с Писаховым у него дома, Степан Григорьевич прислал мне в Ленинград первую книжку своих сказок, выпущенную Архангельским областным

издательством. В ней, как бы продолжая наш разговор. Степан Григорьевич писал в конце авторского предисловия: «Несколько слов о Малине. В деревне Уйма, в восемнадцати километрах от Архангельска жил Сеня Малина. В 1928 году я был у Сени Малины. Это была наша единственная встреча».

Ага, значит, Сеня Малина был, существовал. С этой уверенностью я жил еще тридцать лет. А в 1968 году в только что вышедшем пятом томе «Краткой литературной энциклопедии», в статье «Писахов», я прочел: «Сказки Писахова, объединенные в цикл «Северный Мюнхаузен», ведутся от лица крестьянина-помора Малины, прототипом которого послужил житель деревни Уйма С.М. Кривоногов».

Вот оно как. Выходит, что Сени Малины все-таки не было. Был Семён Кривоногов, черты которого отлил Писахов в выдуманном им Сене Малине.

Ну, что ж. Можно и так. В конце цитированного мной предисловия к первой книге своих сказок Писахов фактически сам объяснил это: «Чтя память безвестных северных сказителей-фантастов - моих земляков, я свои сказки говорю от имени Малины».

Итак, Малины нет, но Малина есть, потому что в честь него сказываются сказки и Писаховым, и многими другими.

И ещё несколько слов о Малине и Писахове. Я думаю, что прототипом Сени Малины был не только С. Кривоногов, но и… С. Писахов. Душа Сени Малины жила в самом Степане Писахове, и все придумки Малины - это придумки и Писахова.

Степан Григорьевич писал как-то, что Малина рассказал ему во время их единственного свидания две сказки: «На корабле через Карпаты» и «Розка и волки». Может быть. Но ведь остальные сказки Писахова, сочинённые несомненно им самим, как две капли воды похожи на эти две сказки.

Думая об этом, я всё больше утверждался в мысли, что в сказках Степана Писахова столько же Сени Малины, сколько в сказках Сени Малины Степана Писахова. Был ли мальчик, в данном случае не столь уж важно. Гораздо важней то, что был народ-сказитель и был сказитель Степан Писахов, старавшийся следовать его путем.

Тема главы, посвящённой Степану Писахову, - это тема Писахова-Малины. Она как будто исчерпана. Но мне хочется рассказать ещё об одной встрече с Писаховым в… фондах Ленинградского музея Арктики и Антарктики. Случилось это через несколько лет после смерти Степана Григорьевича.

Я спросил хранителя фондов музея Валентину Владимировну Кондратьеву:

- Нет ли у вас каких-нибудь работ архангельского художника Писахова?

- Кое-что есть, - ответила она. - Немного, правда: две картины и несколько листов графики, - и с готовностью добавила: - Сейчас принесу.

Я ждал с нетерпением возвращения Валентины Владимировны и с ещё большим нетерпением следил за тем, как осторожно, неторопливо, бережно она вынимала картины из плотных конвертов, в которых они хранились. Наконец, хранительница сокровищ дала мне взглянуть на них, и первое, что я увидел, был… аэроплан - старый мой знакомец по Архангельску.

Надо же было так случиться, что одна из двух картин Писахова, хранившихся в фондах музея, оказалась именно той, которая для моей работы о Писахове была мне всего нужней и всего интересней. Может статься, эта картина и вообще самое интересное из наследия Писахова-живописца.

До той поры я видел эту картину дважды - пятьдесят три и тридцать три года тому назад: на выставке Писахова, если не ошибаюсь, в 1916 году и у него на квартире в Архангельске - в 1936 году. И вот теперь она снова передо мной, больше того - мы с ней наедине, и я могу глядеть на неё, сколько моей душе угодно, могу разглядывать её во всех самомалейших деталях, каждая из которых для меня - находка.

Впрочем, когда картина, высвобожденная из своих обёрток, предстала передо мной воочию, я ещё не знал, какая это интересная, какая драгоценная находка, как много она для меня открывает того, чего я прежде не знал и о чём даже не догадывался. Но обо всём этом - в следующей главе.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ

Придётся на время оставить живопись и литературу, чтобы обратиться к авиации вообще и к северной, арктической авиации в частности.

Самолёт, изображенный на стоявшей передо мной картине, на который я прежде смотрел просто как на самолёт, оказался определенным, действительно существовавшим самолётом и - гораздо больше того - интереснейшей реликвией истории русской и мировой авиации.

Что же это за самолет? Четкая подпись в правом нижнем углу картины: «Ст. Писахов, 1914» сразу определяла эпоху, к какой относится машина. Это был «Фарман», так сказать, самолёт в пелёнках, свидетель младенческих лет авиации - биплан-этажерка, с густо поставленными между нижней и верхней плоскостями деревянными стойками-распорками и крохотной кабиной-люлькой для пилота, как-то отдельно вставленной в самолет и окрашенной притом в ярко-красный цвет.

Мне, признаться, невдомёк было поначалу, почему так ярко окрашена кабина, и я решил, что это просто элемент колорита картины, желание художника дать на общем скромно-тускловатом фоне северного пейзажа яркое, привлекающее глаз живописное пятно.

Но дело обстояло не так. Это была не прихоть художника. Однако поговорим по этому поводу в конце главы. А сейчас займёмся самолётом в целом.

Это был гидроплан, стоящий у самого берега на трех поплавках. Наклонясь к самой картине, я старался близорукими своими глазами разглядеть детально эти самолётные «ноги», когда Валентина Владимировна будничным голосом сказала:

- Постойте, это же самолет Нагурского, и у нас есть его фотографии.

Она заглянула снова в ведомые ей одной архивные недра и положила передо мной папку, из которой вынула две фотографии и две книжки.

Я схватился за фотографию. На обеих был изображён уже знакомый мне самолёт, причём, на одной - вместе с лётчиком, стоящим возле него на снегу. Лётчик - высокий и плечистый - был одет в плотное демисезонное пальто и русские сапоги.

- Прочтите надпись на обороте, - посоветовала Валентина Владимировна.

Я повернул фотографию оборотной стороной и прочёл карандашную надпись: «Самолёт И.О. Нагурского в Архангельской губе на Новой Земле в 1914 году. Экспедиция на поиски Г.Я. Седова. Фото изготовлено Северным отделением Географического об-ва в гор. Архангельске».

- Чьей рукой сделана эта надпись? - спросил я, всё ещё держа фотографию в руках.

- Это писал Наливайко, - ответила Валентина Владимировна.

Наливайко… Эту фамилию я уже знал. Услышал я её впервые несколько дней тому назад, сидя в кабинете директора музея Ивана Кондратьевича Якимова. В разговоре со мной Иван Кондратьевич сказал, что, работая над книгой о Севере, мне было бы весьма полезно связаться с живущим в Архангельске Георгием Яковлевичем Наливайко, который уже двадцать два года состоит председателем Северного отделения Географического общества.

Забегая несколько вперёд, скажу, что я последовал совету Ивана Кондратьевича, связался с Наливайко и получил от него весьма полезные для меня и моей работы советы, а также и некоторые материалы.

Однако вернёмся к длинному, заваленному всякой музейной всячиной, столу Валентины Владимировны, за которым я сижу над самолётом, изображённым на писаховском полотне, над фотографиями того же самолета и его летчика, над книгами Нагурского. Книги присланы из Польши, где живет сейчас Ян Иосифович. На одной из них, носящей название «Первый над Арктикой» - дарственная надпись лётчика: «Свершилось предсказанное в 1914 году: единственное средство сообщения в Арктике - самолёт. Арктика перестала быть таинственной. Самолёты - лучший способ коммуникационного сообщения. Книжки шлю на память для музея. Ян Нагурский».

Непосредственно за дарственной надписью следует авторское предисловие к книге, начинающееся цитатой: «Большая советская энциклопедия в 29 томе под буквой «Н» указывает: «Нагурский Иван Иосифович (1883 - 1917) - русский военный лётчик, совершивший первые полёты в Арктике на самолете. В 1914 году, в поисках русских арктич. экспедиций Г.Я. Седова, Г.Л. Брусилова и В.А. Русанова, Нагурский совершил (с Новой Земли) на гидросамолете 5 полётов, во время которых достиг на С. мыса Литке и удалился на С.-З. на 100 км от суши. Нагурский находился в воздухе свыше 10 часов и прошёл около 1100 км на высоте 800-1200 м. Нагурский указал на возможность достижения Северного полюса на самолёте».

Книжка Нагурского лежит передо мной на моём письменном столе, и тоже с дарственной надписью. Но это уже не тот экземпляр, что я видел в музее Арктики и Антарктики, а мой собственный и притом не на польском а на русском языке, хотя и прислана книжка мне из Варшавы.

Почему из Варшавы? Вообще, как попала ко мне эта книжка? История стоит того, чтобы рассказать её хотя бы вкратце.

Когда в музее я узнал, что самолет, написанный Степаном Писаховым на его картине, принадлежал русскому лётчику Нагурскому, я был чрезвычайно заинтересован этим по многим причинам. Во-первых, Нагурский первым в мире поднялся в Арктике и летал над ней на самолёте. Во-вторых, это был летчик, разыскивавший следы пропавшей экспедиции Седова и экспедиций Брусилова и Русанова. В-третьих, этот первый арктический летчик бывал в Архангельске, куда прибыл с самолета на пароходе «Печора» после своих знаменитых полётов, которые прервала начавшаяся первая мировая война. Там, в Архангельске, и были сделаны увиденные мной в музее Арктики фотографии.

Этого было достаточно, чтобы я начал розыски Нагурского, стремясь связаться с ним и получить все, какие возможно, материалы о его полётах и о нём самом из первых рук.

Мне было известно, что летчик Нагурский, летавший над Арктикой почти шесть десятилетий тому назад, жив и, приняв польское подданство, живёт сейчас в Варшаве.

Я тотчас написал ему письмо, объяснив, кто я, и попросил

снабдить меня материалами, необходимыми для книги о Севере, которую я пишу.

Не зная адреса Нагурского, я обратился в Польское посольство в Москве с просьбой разыскать в Варшаве Нагурского и передать ему моё письмо.

Спустя месяц я получил от Яна Иосифовича ответ с указанием его домашнего адреса. Завязалась переписка, и Ян Иосифович прислал мне свою книжку «Первый над Арктикой» на русском языке, а также свою фотографию и подробное описание одного из памятных ему полётов на поиски пропавших экспедиций Г. Седова, Г. Брусилова и В. Русанова.

Оказывается, книжка Яна Нагурского «Первый над Арктикой» была переведена на русский язык и выпущена у нас ещё в 1960 году. Печаталась она у меня под боком, в Ленинграде, но попала ко мне через… Варшаву.

Необходимо сказать об этой книжке подробней. Она примечательна прежде всего тем, что написана человеком, первым в мире поднявшимся в воздух над Арктикой, первым совершившим в тяжёлых арктических условиях длительные поисковые полёты, первым из лётчиков, дерзнувшим оторваться от суши и уйти на сто десять километров в море над нагромождением льдов, исключающих посадку на них, первым поднявшимся на высоту до полутора тысяч метров, что, по тем временам и при той технике, было, по-видимому, рекордным достижением, наконец, первым, кто предсказал возможность достижения на самолёте Северного полюса.

Знаменитый полярный лётчик Б. Чухновский, автор предисловия к книге Нагурского, пишет: «Полёты Наурского - свидетельство большого мастерства и необычайной смелости. В наши дни, когда авиация достигла невиданных вершин техники, кажутся маловероятными полёты над льдами Арктики, по существу, на авиетке (самолет Нагурского весил 450 кг, мощность двигателя 70 л. с., скорость 90 км/час), без знания метеообстановки на трассе, без радиосвязи, с ненадёжным мотором, без наземного обслуживания и, что, пожалуй, самое существенное, без приборов слепого полёта, отсутствие которых грозит любому самолету срывом в штопор или падением после вхождения в туман или облачность, т. е. во всех случаях потери лётчиком видимого горизонта».

Блестящий лётчик и отважный офицер русской армии, Нагурский совершил несколько великолепных и беспримерных по тем временам полётов.

Мне очень хотелось получить описание хотя бы одного такого полёта от самого Наурского. Я написал об этом Яну Иосифовичу и вскоре получил то, чего желал.

«Уважаемый Илья Яковлевич, - писал Нагурский, - Ваше письмо от 11.X.1969 г. получил. Считаю, что для Вас будет интересным иметь описание одного из полётов в Арктике, который ещё не видал света, т. е. не был описан мною, и мои переживания в нём. Это полёт с Панкратьевых островов на Северо-Запад до островов Франца-Иосифа и обратно. Ко мне, сидящему с гидропланом на льду у Панкратьевых островов, пришла пешая экспедиция с «Андромеды»: 4 человека. «Андромеда» прибыла с углём и задержалась у кромки льдов, в 30 милях от места моей стоянки. Люди шли по льду берегом Новой Земли.

Встреча была сердечная. Я очень обрадовался прибытию гостей. Надеялся, что они прибыли с запасами продовольствия и необходимых мне вещей. Я ведь был с механиком выгружен с парохода на берег в Крестовой губе и оставлен почти без всякого продовольствия и жизненных запасов. Оказалось, что гости ничего с собой для меня не имеют, могут только поделиться своим продовольствием. Они прибыли на несколько часов навестить меня и посмотреть, как я живу на льду один с гидроаэропланом. Они желали посмотреть мои полёты, так как не видели ещё, чтобы человек летал.

Я сказал, что они удачно прибыли, потому что я собираюсь сегодня лететь на северо-запад, в направлении Земли Франца-Иосифа. Прибывшие рассказывали много о своей жизни. Пешее путешествие их ко мне было трудное: льды прибрежные, местами очень неровные, у берега открытая вода. Они принуждены были далеко отходить от берега.

Я начал собираться к отлёту. Проверил мотор. Пополнил баки с бензином и маслом. Объяснил своим гостям, что лечу в направлении Земли Франца-Иосифа с заданием разведки - розыска людей экспедиций Седова, Русанова и Брусилова. Прилечу обратно через пять-шесть часов. Ответили, что будут

меня ждать и желают видеть, как летают люди.

Вылетел я в направлении на северо-запад на острова Земли Франца-Иосифа. Куда ни кинешь глаз - картина одинаковая: ледяная пустыня смерзшихся битых льдов. Поверхность неровная, негладкая: всюду торчащие льдины разной величины. Нигде не видно ровной поверхности, необходимой для посадки в случае нужды самолёта. Температура воздуха на высоте 1500 метров -12 -15 градусов мороза. После двух часов лёту вид ледяного пространства внизу не меняется, ледяная мрачная пустыня. Состояние моё - полное внимание. Я снаружи мёрзну. Бровям, глазам и лицу холодно. Видимость очень хорошая, видны острова Франца-Иосифа, два южных больших Вильчека и Белл, северо-западнее больше островков меньших, с верхушками, как белые шапки меховые. Меняю направление немного на запад и после часа полёта вижу хорошо два больших острова Георга и западнее - Александры. Второй остров больше первого. Следующие острова - мелкие, шапки белые.

Дальше на северо-запад: пустыня торчащих смёрзшихся льдов. По середине этой пустыни с юга на север западнее и вдали от Земли Франца-Иосифа ясно заметна тёмная полоса воды, как узкая ленточка. Мне делается всё холоднее, я мёрзну. Внизу по-прежнему ледяная пустыня. Никакой жизни не видно. По часам я лечу около трех часов. Решаю возвратиться. Возвращение было менее напряжённое. Вслушиваюсь в работу двигателя и поглядываю на компас, следя правильность пути. Оглядывая поверхность льдов, представлял себе, как тяжело и трудно передвижение пешком для людей и экспедиций, которым приходилось идти в этих местах.

Раздумывая так и следя за курсом полёта и вслушиваясь в ритмичную работу двигателя, увидел вдали Новую Землю, место стоянки моего самолёта и ждущих на берегу людей с «Андромеды». Посадку сделал на лёд на месте вылета. Полёт мой к Земле Франца-Иосифа и обратно занял около шести часов. Ожидавшая меня команда моряков с «Андромеды» встретила меня с большим восторгом, видели первый раз, как человек летает на самолёте. Поздравлениям и похвалам не было конца. Поделились со мною своим продовольствием и ушли на юг по льду до парохода «Андромеды». Я снова остался сам со своим самолётом. Ян Иосифович Нагурский».

Так описывает Нагурский самый дальний и самый долгий

свой полёт. Только длительность его, невиданная по тем временам, могла составить гордость лётчика. Но Нагурский удивительно скромен в своем описании. Деловито, сдержанно, простыми словами в самой обыденной тональности рассказывает лётчик о своём необыкновенном полёте.

Из этого описания у читателя может составиться впечатление, что никаких особых трудностей полёты в Арктике и не представляют. Увы, это совсем не так. И полёты, и вся жизнь Нагурского на Новой Земле возле самолёта - акт героический и свидетельство железной воли и мужества лётчика.

Царское правительство и гидрографическое управление, вынужденное под давлением общественности начать розыски пропавших экспедиций Седова, Брусилова и Русанова, организовало поисковую экспедицию скверно, небрежно, с преступной беспечностью. Капитан Ислямов, командовавший одним из двух экспедиционных судов - «Гертой», находил, например, что розыск пропавших экспедиций с помощью самолётов вообще пустая затея. Вместо того, чтобы пробиваться вперёд сколько возможно дальше на Север с тем, чтобы начать поиски пропавших экспедиций с воздуха в тех местах, где эти экспедиции могли быть, Ислямов высадил лётчика и механика прямо на лёд пустынной Крестовой губы на Новой Земле, а сам на своём пароходе «Герта» ушел к Земле Франца-Иосифа. При этом самонадеянный, беспардонный капитан первого ранга ни в какой степени не позаботился о том, чтобы должным образом обеспечить, устроить бросаемых им людей и хорошо снабдить всем необходимым.

Он нимало не думал о том, как будут жить в ледяной пустыне лётчик и механик почти без продовольствия, без жилья, без укрытия от непогоды, без медикаментов, без всякого контакта с внешним миром, без какой-либо возможности в случае нужды обратиться к кому бы то ни было за помощью. И как летчик и механик почти без инструмента и совершенно без приборов сумеют собрать самолёт, как поднимут вдвоём кабину с мотором, которая весит более двухсот килограммов и как лётчик сможет подняться на гидросамолёте, сидящем на поплавках, с неровного льда? И вообще неизвестно было, сумеет ли лететь самолёт, собранный в столь дико примитивных условиях.

А что следовало делать в случае необходимости перебазироваться? А если летчику, летящему в одиночку,

придётся садиться где-то в другом месте? Ведь у него не было никаких средств дать знать о месте своего нахождения.

Непонятно было, почему в помощь лётчику и механику не оставили ещё двух-трех человек из судовой команды. Столь варварское и бесчеловечное отношение к людям поисковой экспедиции для нас - совершенно непостижимо. Но тогда, очевидно, это было нормой отношения человека к человеку в России.

Я не могу передать всех мук и тягостей, какие пережили лётчик и механик, собирая самолёт и транспортируя его к берегу, когда ветер отогнал льды и сделал возможным старт машины с воды, как не могу подробно пересказать и историю жизни Нагурского и Кузнецова в Крестовой губе, историю вынужденной перебазировки севернее - на Панкратьевы острова, полётов в тумане, в снежную пургу без ориентиров и без приборов для слепого полёта. Остановлюсь лишь вкратце на том, что мне стало известно.

Продукты и горючее у Нагурского и Кузнецова скоро кончились, а вспомогательное судно «Андромеда», задержанное, очевидно, в пути льдами, не появлялось. Пришлось добывать пищу охотой, есть противную тюленину, пока не прибрёл к самолёту любопытствующий белый медведь, которого удалось застрелить.

В довершение всех бед заболел механик, и его пришлось переправить на подошедшую, наконец, «Андромеду».

И несмотря ни на что, Нагурский с великолепной настойчивостью и мужеством продолжал свой поиск. Во время одного из трудных полётов, длившихся четыре часа пятьдесят две минуты, он обнаружил на острове Панкратьева вросшую в лёд избушку, в которой нашёл… Впрочем, пусть сам Нагурский расскажет о том, что он нашёл в этой затерянной в ледяной пустыне избушке, к порогу которой он подступил вместе со своим механиком Евгением Кузнецовым, вернувшимся к нему с «Андромеды».

«Мы вошли внутрь. Через маленькое оконце, врезанное в южную стену, скупо проникал свет. Нары, сбитые из досок, утопали во мраке. Только стол, стоявший посреди избы, был отчётливо виден. Луч солнца лег на него жёлто-розовым пятном и

преломился на металлическом предмете, лежавшем посреди стола.

Минуту мы простояли молча, с волнением разглядывая простую утварь этого дома, хозяев которого, быть может, уже нет в живых.

Я подошёл к столу и взял в руки металлическую трубу, сделанную из консервных банок. Когда я стал открывать её, руки мои дрожали от волнения. Из трубы я вынул свёрнутые в рулон бумаги.

Седов!

Это были документы экспедиции лейтенанта Седова.

Волнуясь, я стал просматривать листы, читая только заголовки. В этот момент у меня не было возможности подробно знакомиться с содержанием этих ценных документов. Но я понял, что был первым человеком, напавшим на след затерявшейся экспедиции и в то же время совершенно беспомощным, чтобы проследить дальнейший её путь. Судя по оставленным записям, Седов мог находиться от нас на расстоянии 14-15 часов полета, а мой «Фарман» способен продержаться в воздухе немногим более пяти часов. Находка произвела на меня такое сильное впечатление, что я забыл обо всём, даже о своём «Фармане», о полётах, о Женьке. В тот момент для меня, кроме Седова, не существовало никого.

Кузнецов стоял за моей спиной и что-то говорил, но я его не слышал. Очнулся лишь, когда он стал тормошить меня.

- Что же вы прочли?

Этот вопрос привёл меня в чувство. Действительно, я же ещё не знаю всего, что там написано.

- Подходи ближе. Прочитаем вместе

Седов писал рапорт в Морское министерство. Он уведомлял, что плотный лёд помешал его экспедиции попасть на Землю Франца-Иосифа в первый год. Он оставил судно в пятнадцати километрах от этого места, а сам с частью экипажа пошел на остров Панкратьева, расположенный близ Новой Земли. Здесь

решено было зазимовать, а следующей весной на корабле двинуться в дальнейший путь».

Так Нагурский обнаружил следы пропавшей экспедиции Георгия Седова. Возможно, что он обнаружил бы и местонахождение «Св. Фоки» со всеми членами экспедиции, если бы не тупое равнодушие командира «Герты» Ислямова к порученному ему делу.

Нагурский в своей книге писал: «Герта» добралась до Земли Франца-Иосифа, здесь ей пришлось задержаться, так как дальше к северу не пускали льды. Но если бы с места её стоянки мог вылететь на разведку самолёт, возможности выполнения задач экспедиции несомненно бы возросли. Помимо этого появились бы реальные виды на спасение людей из партии Брусилова, судно которого дрейфовало севернее острова Рудольфа».

Нагурскому не удалось закончить свои поиски и провести их в таком объёме, в каком ему это хотелось бы. Неожиданно грянувшая первая мировая война заставила его прекратить поиск. Ему, как русскому военному лётчику, было приказано немедленно возвращаться, чтобы отправиться в действующую армию.

Одно из двух вспомогательных судов поисковой экспедиции, пароход «Печора», привёзший весть о войне и приказ о возвращении, принял на борт Нагурского и его самолет и доставил в Архангельск.

Оттуда Нагурский умчался в Петербург, а потом, сдав рапорт о своих полётах в Арктике начальнику Главного гидрографического управления, ушёл на фронт, летал там как военный лётчик, участвовал в воздушных боях с немецкими цеппелинами и даже… был убит, если верить энциклопедиям.

Кстати, об энциклопедиях. В начале главы я уже приводил заметку о русском военном летчике Иване Иосифовиче Нагурском, помещенную в БСЭ. Теперь в конце главы я должен внести в эту заметку некоторые исправления и уточнения. Нагурский совершил не пять полётов, как это указано в энциклопедии, а, по крайней мере, в два раза больше, причём общая длительность их была «одиннадцать часов тридцать минут», как это указано в официальном рапорте лётчика по начальству. Максимальная высота, на которой летал Нагурский в

Арктике, достигала не тысячи двухсот метров, а полутора тысяч.

Наконец, последнее, если можно так выразиться, уточнение. В начале заметки, после фамилии Нагурского, стоят в скобках две цифры: (1883-1917). Так обычно обозначают в энциклопедиях и других справочниках годы рождения и смерти того, о ком повествует заметка. Обе цифры, указанные в энциклопедии, не верны. Родился Нагурский не в 1883 году, а пятью годами позже. Что касается его смерти в 1917 году, то сам Нагурский в начале первой главы своей книги поставил заголовок «Я жив, однако!»

Я лично имею ещё одно веское доказательство, опровергающее БСЭ и лежащее передо мной на моем столе. Это присланная мне фотография Нагурского и его жены. На обороте фотографии собственноручная надпись Яна Иосифовича: «Последний снимок с бала Сильвестрого жены Антонины и мой. 1969 год». Комментарии, как говорится, излишни.

Таковы в кратчайшем изложении некоторые факты о жизни, приключениях и мнимой смерти Яна Нагурского. В этом беглом очерке я поневоле должен был опустить ещё множество интересных фактов, относящихся к подготовке Нагурского к экспедиции, участию в постройке во Франции самолёта, переписке с Амундсеном и американцем Бердом, первым достигшим на самолёте в 1926 году Северного полюса, а также о встречах с Амундсеном и Отто Свердрупом, об отплытии поисковой экспедиции, при котором присутствовали Нансен и братья Руала Амундсена, и о многом другом, на что не достало мне в очерке места.

Но об одном любопытном обстоятельстве я всё же хочу ещё упомянуть, прежде чем поставлю в этой главе заключительную точку. Речь идёт о проблеме красной кабины самолёта Нагурского. Почему она была окрашена именно в красный цвет, да ещё в такой интенсивно-красный?

Вот что пишет по этому поводу в своём предисловии Б. Чухновский: «И в книге, и в своём рапорте Нагурский правильно намечает основные направления использования авиации на Севере для разведки льдов, открытия новых земель, помощи гидрографическим и топографическим аэрофотосъёмочным работам. Он даёт советы по снаряжению самолётных экспедиций и об окраске аэропланов в контрастный по отношению к снегу красный цвет. Это было применено в советской полюсной

экспедиции 1937 г.»

Как видите, Нагурский окрасил кабину своего самолёта в красный цвет не из прихоти или щёгольства, а из целесообразности, которой последовали двадцать три года спустя и другие полярные лётчики.

Художник Степан Писахов написал кабину самолета Нагурского на Новой Земле красной тоже не из прихоти или стремления к живописности, а из верности натуре.

Эта верность сказочника-фантаста натуре, правде, действительности кажется на первый взгляд парадоксальной, но мне лично она внушает уважение к Степану Григорьевичу. К этому следует присоединить чувство благодарности за знакомство с Яном Иосифовичем (хотя бы и заочное). Ведь именно идя по следу писаховских картин, я и напал на след Нагурского.

ДВА ПИСАТЕЛЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДВУХ КАПИТАНАХ

Раз уж мы заглянули в Арктику, то, пожалуй, есть смысл несколько задержаться в её опасных просторах, так как Архангельск связан с ними издавна и неразрывно.

Архангельск - город смелых мореходов, город капитанов, город экспедиций. Отсюда, с Северной Двины, ещё в самом начале семнадцатого века архангелогородцы ходили на своих кочах к берегам Сибири, в торговую Мангазею.

В июле 1734 года участники Великой северной экспедиции С. Муравьёв и М. Павлов на специально построенных кочах «Экспедицией» и «Обь» уходили из Архангельска к Ямалу и дальше на север.

Здесь, в Архангельске, двумя годами позже были построены два бота, на которых С. Малыгин прошел вдоль Сибирских берегов к устью Оби и по Оби дошел до Берёзова, после чего оба корабля под командованием А. Скуратова вернулись обратно.

Спустя тридцать лет из Архангельска ушёл в двухлетнюю экспедицию на Новую Землю отважный Фёдор Розмыслов, положивший начало планомерному изучению этих ближайших к нашим северным берегам крупных арктических земель.

Продолжая исследование Новой Земли, из Архангельска же совершил к ней свои четыре экспедиции 1821 -1824 годов неукротимый Фёдор Литке.

От Архангельских пристаней дважды, десять и двенадцать лет спустя, уходил на Север Пётр Пахтусов.

В начале века, с 1907 по 1912 годы, совершил пять экспедиций революционер, геолог, исследователь-полярник Владимир Русанов.

В Соломбале отыскал Георгий Седов в 1912 году своего «Святого Фоку», а потом ушёл на нём из Архангельска в героическую экспедицию к Северному полюсу.

В 1915 году к Соборной пристани пришвартовались «Таймыр» и «Вайгач» Бориса Вилькицкого, впервые в истории мореплавания прошедшие Северным морским путём с востока на запад - от Берингова пролива до Архангельска.

После того через семнадцать лет, уже в советскую эпоху, «Александр Сибиряков» прошёл первым в мире за одну навигацию тот же путь в обратном направлении, то есть от Архангельска до Берингова пролива.

Я не историк, не географ, не занимался этими вопросами специально и потому не могу перечислить все экспедиции, всех ледовых героев, всех славных капитанов, водивших от архангельских причалов бесчисленное множество раз свои корабли в смелые и опасные рейды. Но о двух таких капитанах я должен рассказать.

Каждый из тех, кому доведётся прочесть эти строки, тотчас вспомнит, наверно, давно прочитанный роман Вениамина Каверина «Два капитана». Ну что ж, воспоминание будет как нельзя более кстати, тем более, что «Два капитана», на мой взгляд, несомненно, лучший из всех романов Каверина. Я имел случай сказать это самому Вениамину Александровичу, когда он однажды появился во время войны возле моей койки в архангельском госпитале на Быку, куда привезли меня в санпоезде с Карельского фронта, из Заполярья. Появление Каверина в Архангельске также, в некотором роде, связано с «Двумя капитанами». Вынужденный с началом Великой Отечественной прервать работу над романом и уже будучи военным корреспондентом «Известий», Каверин просил командировать его на Северный фронт, где надеялся найти материал для последующей работы над «Двумя капитанами». Однако вернёмся к моему разговору с Кавериным.

В те дни жесточайших военных бурь, когда человек испытывался на прочность каждый день и каждый час, все мы говорили друг с другом душевней и откровенней, чем нынче. Посему разговор наш с Вениамином Александровичем, случившийся неожиданно в архангельском госпитале, был открытей, чем в какое-либо другое время. Я сказал Каверину, что не все его книги мне по душе, но что «Двух капитанов» я очень люблю и ценю. Причин тому множество, но, пожалуй, важнейшая из них та, что в «Двух капитанах» Каверин, оставаясь верным острому сюжету и столь же острой занимательности, более

сердечен, жизнен, человечен, чем в других своих книгах. Примерно так сказал я тогда Каверину. Так думаю и сейчас.

Откуда и почему появились в романе эти подкупающие сердечные нотки, эта жизненность и человечность? Я думаю, от особой взволнованности материалом романа, может статься, не испытанной автором в такой степени при работе над другими своими вещами. А в этой взволнованности материалом романа, мне кажется, повинны две встречи.

О первой из них сам Каверин довольно обстоятельно рассказал в одном своём очерке, опубликованном лет двадцать пять тому назад.

С этим очерком, мне думается, мало кто из читателей «Двух капитанов» знаком, а между тем он важен для предмета, о котором идёт речь, так как в этом очерке Каверин знакомит читателей с историей создания романа «Два капитана».

Впрочем, пересказывать эту старую публикацию сейчас, я полагаю, уже нет нужды, потому что Каверин повторил её, и даже в более развёрнутом виде, во вступлении к первому тому своего шеститомного собрания сочинений. Том этот издан в 1963 году, а вступление очень чётко и точно названо «Очерк работы». В нём довольно значительное место занимает рассказ о том, как возник и как создавался роман «Два капитана».

Всё началось в 1936 году. Отдыхая в санатории под Ленинградом, Каверин случайно встретился там с одним молодым учёным - человеком трудной судьбы и высоких человеческих качеств. Завязались добрые отношения, и однажды этот молодой учёный стал рассказывать Каверину историю своей многосложной жизни. Рассказ длился шесть вечеров кряду, и краткие записи его легли в основу повести, которая заключала в себе в зачаточном состоянии будущих «Двух капитанов», а точнее говоря, характер и биографическую канву младшего из капиталов - Сани Григорьева.

Повесть была написана залпом в течение трёх месяцев, но, по-видимому, не вполне удалась, и напечатать её не представлялось возможным. На время она была отложена, однако в следующем году Каверин вернулся к ней и уже с более широкими планами большого романа.

Но для большого романа не хватало материала. Какой же ещё материал, кроме истории жизни нового знакомца Каверина, ставшего его другом, должен был дополнительно войти в книгу? Указующими в этом направлении являются слова самого Каверина в «Очерке работы» о том, что «Роман писался в конце тридцатых годов, принёсших Советской стране огромные, захватывающие воображение победы в Арктике».

Арктический материал захватил воображение и автора будущего романа. Но что выбрать из громадного материала истории завоевания Арктики? Каверин остановился на 1912 и примыкавших к нему годах.

Год 1912 в истории русского полярного мореходства был особо героическим и особо трагическим. В конце лета этого года отправились по разным маршрутам три русские полярные экспедиции: Георгия Брусилова, Владимира Русанова и Георгия Седова. Все трое погибли, прокладывая путь последующим завоевателям Арктики. Этот героический и трагический материал и принялся осваивать Каверин, работая над своим романом. В конце концов из трёх действительных капитанов родился один романический - Иван Татаринов.

Но нельзя ли распознать поточней - который из трёх стал прототипом старшего каверинского капитана? Попробуем. Передо мной на столе брошюра Ф. Черняховского «Георгий Яковлевич Седов», изданная в 1956 году в Архангельске. На последней странице её я читаю: «Образ Ивана Татаринова в романе В. Каверина «Два капитана» выражает лучшие черты Георгия Яковлевича Седова».

Многие читатели, вероятно, думали и думают так же. Но так ли это на самом деле? И нельзя ли извлечь подтверждение этому из самого, романа «Два капитана» или из источников, какими явно пользовался при написании романа его автор? Попробуем и для начала давайте сличим некоторые детали действительной биографии и действительной истории экспедиции Георгия Седова с соответствующими деталями романической биографии и романической истории экспедиции Ивана Татаринова.

Вот хотя бы один пример почти точного совпадения бывшего в действительности и романического. В дневнике одного из участников экспедиции и друга Седова так записана пятнадцатого февраля 1914 года сцена прощания больного Седова с членами

экспедиции и командой перед уходом со «Святого Фоки» на Север, к полюсу: «Неистощимый рассказчик, выдумщик анекдотов и смешных историй, кумир команды… даже к работе приступающий не иначе, как с шуткой, Седов теперь выглядел другим…» И дальше: «…Он несколько минут стоял с закрытыми глазами, как бы собираясь с мыслями, чтобы сказать последнее слово. Но вместо слов вырвался едва заметный стон, в углах сомкнутых глаз сверкнули слёзы…»

Так прощался со своими друзьями и соратниками, покидая «Святого Фоку», действительный, доподлинный, живой капитан и начальник экспедиции - Георгий Седов.

А вот как выглядит при прощании с командой корабля романический капитан и начальник экспедиции Иван Татаринов в «Двух капитанах»: «…Что общего с прежним… выдумщиком анекдотов и забавных историй, кумиром команды, с шуткой приступавшим к самому трудному делу… Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь с мыслями, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо слов вырвался чуть слышный стон и в углу глаз сверкнули слёзы».

Сравним в отрывках и самую прощальную речь Седова. В дневнике участника экспедиции записано, что, овладев собой, Седов «начал говорить сначала отрывочно, потом спокойнее… Трудами русских в историю исследования севера вписаны важнейшие страницы, Россия может гордиться ими. Теперь на нас лежит ответственность оказаться достойными преемниками наших исследователей Севера… Мне хочется сказать вам не «прощайте», а «до свиданья».

А вот что читаем мы в соответствующем месте «Двух капитанов»: «…Он заговорил сперва отрывисто, потом все более спокойно… Трудами русских в истории Севера записаны важнейшие страницы, - Россия может гордиться ими. На нас лежит ответственность - оказаться достойными преемниками русских исследователей Севера… Мне хочется сказать вам не «прощайте», а «до свиданья».

Как видите, оба описания сцены прощания и процитированные части содержания прощальной речи Седова - действительное и романическое, - совпадают почти дословно. Случается, что так же или почти так же обстоит дело и с другими сценами и деталями повествования «Двух капитанов», которые

иногда лишь слегка изменены по сравнению со сценами и деталями действительно существовавшими. От того, что некоторые подлинные детали заменены романическими, и от того, что введены вымышленные ситуации и вымышленные люди, кроме действительно существовавших, ничего, по сути дела, не изменяется.

Впрочем, маскировка действительных событий и даже действительных фамилий иногда почти снимается. Скажем, в романе действует архангельский делец Вышимирский, который, наживаясь на снабжении экспедиции Ивана Татаринова, поставляет ему вместо вытренированных ездовых сибирских лаек просто дворняжек, возможно, выловленных на улицах того же Архангельска. Часть из них в пути пришлось пристрелить, чтобы не тратить попусту драгоценных для экспедиции продуктов.

Я не знаю, в самом ли деле Вышимирский снабжал экспедицию Седова столь подло, но я отлично помню большой меховой магазин Вышимирского на самом бойком месте, в центре Архангельска. Для этого магазина и для своего жилья торговец пушниной построил на основной магистрали города, Троицком проспекте, каменный трёхэтажный дом - один из первых каменных частных домов в Архангельске.

Итак, мы знаем прототип капитана Татаринова. Мы знаем прототип, а может статься, и подлинного Вышимирского. Мы без труда можем обнаружить прототипы некоторых других персонажей «Двух капитанов». Известный лётчик Ч. с окающим говорком - это Валерий Чкалов. В профессоре В., который «открыл остров на основании дрейфа «Св. Марии», легко распознать профессора Визе, действительно определившего на основании анализа результатов дрейфа «Св. Анны» Г. Брусилова, что в переломной точке дрейфа должна находиться какая-то земля, которая и изменила прямолинейный путь дрейфа. В жизни это случилось в 1924 году. А шесть лет спустя, участвуя в экспедиции на ледоколе «Георгий Седов», Владимир Юльевич Визе мог собственными глазами лицезреть эту землю и даже ступить на неё. Земля оказалась островом, который и назвали островом Визе. Теоретические выкладки учёного оказались верными и были подтверждены на практике им же самим.

Есть в «Двух капитанах» беглое упоминание о том, что во время сборов летчика Сани Григорьева в поисковую экспедицию к нему заходил «П., старый художник, друг и спутник Седова, в

своё время… напечатавший свои воспоминания о том, как «Св. Фока», возвращаясь на Большую Землю, подобрал штурмана Климова на мысе Флора».

Я думаю, что теперь самое время сказать, что художником этим, позже ставшим и писателем, был Николай Васильевич Пинегин, что я цитировал выдержки именно из его дневника, сличая их с текстом соответствующих мест «Двух капитанов».

Надо сказать, что дневник этот был частично опубликован в книге Н. Пинегина «В ледяных просторах», вышедшей в 1933 году, и Каверин мог познакомиться с ней, работая в конце тридцатых годов над большим вариантом «Двух капитанов».

Но, насколько я знаю Вениамина Александровича, он во всех случаях, когда это возможно, предпочитает первоисточник последующей публикации. К нему он обратился и в данном случае. И тут я должен рассказать о встрече автора «Двух, капитанов» с Н. Пинегиным, определившей направление и содержание романа. Впрочем, лучше будет, если расскажет об этой решающей встрече сам Каверин:

«…Однако только исторические материалы показались мне недостаточными. Я знал, что в Ленинграде живет художник и писатель Николай Васильевич Пинегин, друг Седова, один из тех, кто после его гибели привёл шхуну «Св. Фока» на Большую Землю. Мы встретились, и Пинегин не только рассказал мне много нового о Седове, не только с необычайной отчётливостью нарисовал его облик, но объяснил трагедию его жизни - жизни великого исследователя и путешественника, который был не признан и оклеветан реакционными слоями общества царской России. Кстати сказать, во время одной из наших встреч Пинегин угостил меня консервами, которые в 1914 году подобрал на мысе Флора, и, к моему изумлению, они оказались превосходными.

Вспоминаю об этой мелочи по той причине, что она характерна для Пинегина и для его «полярного дома».

Знакомство с «полярным домом» имело, по-видимому, для судьбы «Двух капитанов» очень большое, а может статься, и решающее значение, так как именно здесь, в этом доме, Каверин нашел своего второго, или, как он сам выражается, «старшего капитана» - его личность, его душу, его живой образ.

В «полярном доме» Пинегина всё было для Каверина удачей и счастливой находкой, даже четвертьвековой давности консервы с мыса Флора. И, мне кажется, напрасно Каверин называет эти консервы «мелочью». Это не мелочь. Это живое, вещное, чувственное ощущение того, о чем Каверин собирался писать. Вкус консервов был «вкусом» событий тех дней, подобно тому, как «вкус медвежатины» у Джека Лондона - это «вкус» Севера, мера мужества, готовности к лишениям, к преодолению дальних и трудных дорог. Для писателя живое ощущение материала иной раз дороже, чем горы книг и богатейшие россыпи документов.

Но самой счастливейшей находкой для Каверина в «полярном доме» был, конечно, сам хозяин его Николай Васильевич Пинегин - редкое вместилище того, что так интересовало автора «Двух капитанов». Пинегин отдал всю свою жизнь Северу и был верным и близким другом Седова. Ни от кого другого и никогда Каверин не смог бы узнать о Седове столько, сколько он узнал от Пинегина, причём, не просто узнать, но и постичь, проникнуть в это узнанное. Пинегин является как бы духовным отцом Ивана Татаринова в «Двух капитанах». Нет сомнения, что именно он обозначил «с необычайной отчётливостью» и утвердил собой в душе автора «Двух капитанов» и в самом романе образ Седова как старшего капитана.

Правда, существует ещё одна реальная фигура, вписанная в романическую фигуру Ивана Татаринова. Сам Каверин прямо говорит в «Очерке работы»: «Для моего старшего капитана я воспользовался историей двух отважных завоевателей крайнего Севера. У одного я взял мужество и ясный характер, чистоту мыслей, ясность цели - всё, что отличает человека большой души. Это был Седов. У другого - фактическую историю его путешествия. Это был Брусилов…»

Каверин полностью выдержал намеченную для себя программу. Фактический дрейф «Св. Анны» Брусилова совпадает с дрейфом романической «Св. Марии» Татаринова. В романической истории штурмана Климова мы без труда узнаем фактическую историю брусиловского штурмана Альбанова, чьи дневники романист использовал. Романический приказ Ивана Татаринова, предлагающий каверинскому штурману Климову с тринадцатью матросами покинуть «Св. Марию» и, сохраняя копии важных документов экспедиции, пробираться к земле, совпадает дословно с фактическим приказом Брусилова настоящему штурману Альбанову.

Это о фактическом. Что же касается романического, эмоционального, того, что идет по линии сердца, то Брусилова в «Двух капитанах», собственно говоря, нет. Тут эстафету старшего капитана перехватывает Седов. И это легко объяснимо. Брусилов мог быть известен Каверину только по материалам, а Седов - по живому дружеству с ним Пинегина, который сидел против Каверина и говорил о своём друге, и ел вместе со своим слушателем чудо-консервы с мыса Флора.

Пинегин был для Каверина больше, чем Пинегин. Он был живой частицей Седова и имел полное и неоспоримое право на такое представительство.

В. Каверин в одной из своих статей, посвящённой Пинегину, очень хорошо сказал: «Две большие любви были в жизни Пинегина: любовь к родине и любовь к Седову».

До сих пор стараясь уяснить себе пути, какими Седов пришёл в роман «Два капитана», властно завладел и душой романа и, как можно с достаточным основанием предположить, душой его автора, я старательно сличал текст «Двух капитанов» с дневниками и другими подлинными документами, соотносил годы романические и действительные, разгадывал зашифрованные в романе фамилии живых людей, приводил высказывания автора, поведавшего нам историю создания романа и его подоплёку, - и всё это для того, чтобы доискаться самого для меня интересного, докопаться корней Георгия Седова в Иване Татаринове. Эти старания и поиски были увенчаны в конце письмом ко мне самого Вениамина Александровича, в котором он без всяких обиняков и столь же четко, сколь и энергично, чёрным по белому, точнее, зелёным по приятно-сероватому, утвердил: «Да, в Татаринове со слов Пинегина я пытался написать Седова».

И написал. И отлично написал. Единственно о чём я, пожалуй, сожалею, читая «седовские» страницы романа, это о том, что, желая сделать Татаринова сколь можно более точным двойником Седова, Вениамин Александрович подчас с излишним, как мне кажется, тщанием старался документировать поступки и действия персонажей романического своего героя, точно копируя дневники, приказы и прочее в этом роде. Мне по душе, когда Каверин более свободен и остёр в романическом повествовании, словом, когда Каверин более Каверин и доверяет своему перу более, чем официальному свидетельству факта. Но это уж его

дело. Он хозяин повествования, и всё в нём правит своей волей, своим разумением, сдоим вкусом и своим взглядом на события и людей, судя их собственным верховным судом.

Кстати, в последний раз сверяя мои ссылки на текст «Двух капитанов», я начал просматривать соответствующие места и так увлёкся, что ещё раз прочёл роман от начала до конца. И ещё раз убедился, что «Два капитана» - превосходнейшая вещь.

В заключение главы я хотел бы вернуться к Пинегину, ибо, по чести, он должен венчать разговор о Седове. Я хорошо знал Николая Васильевича Пинегина, был с ним в добрых отношениях, сиживал в его «полярном доме». Он обладал огромным жизненным опытом и огромной силой воображения, которому умел, когда это требуется, давать полную свободу, а когда нужно - сдерживать, подчиняя его капризную изменчивость своей железной воле. Он был талантливым художником, получившим в 1917 году за свои превосходные северные этюды и картины премию имени Куинджи. Он был талантливым писателем, автором многих книг - увлекательно достоверных и романтически окрылённых. Он был, как характеризует его крупный ученый-полярник В. Визе в предисловии к одной из пинегинских книг, выдающимся полярным исследователем. Он был незаменимым членом многих полярных экспедиций - смелый до отчаянности и беспредельно выносливый человек, меткий стрелок, бывалый охотник, умелый каюр, фотограф, кинооператор, географ, гидрограф, когда того требовали обстоятельства - навигатор, штурман и даже капитан, каким довелось ему стать в конце пути «Св. Фоки».

И при всём при том, несмотря на многообразие дарований и способностей, какими наделила Пинегина природа, поражала его удивительная скромность и жизненная непритязательность.

А все-таки, что же доминировало в этом человеческом многообразии? Что правило поступками и устремлениями этой неукротимой натуры? Мне кажется, В. Каверин верно угадал Пинегина, сказав в упоминавшейся мной статье: «У него была душа путешественника». Очень это хорошо и очень точно объясняет генеральную линию жизни Пинегина. Он был вечно в пути. Он шагал, ехал, плыл, летел и снова мчался вперёд и вперёд, и так всю сознательную жизнь. Всю свою жизнь он узнавал и открывал, пристально вглядывался в многозначную мозаику предстоящего и неведомого, запечатляя штрихом на

карте, мазком на полотне, пером на бумаге всё разгаданное в необозримом, трудном, полном тайн мире Севера.

Первое своё путешествие на Север Пинегин совершил в 1909 году. Приехав летом к родным в Архангельск на каникулы, Пинегин - тогда студент Академии художеств - отправился оттуда на Мурман. Тридцать лет спустя в Мурманске, рассказывая мне об этом путешествии, Николай Васильевич сказал между прочим:

- Когда я впервые, будучи ещё студентом-художником, попал сюда, здесь, на берегу Семёновской бухты, где сейчас стоит Мурманск с населением в полтораста тысяч человек, торчала одна-единственная охотничья избушка.

Тогда «Север был совсем неведомой страной». Эту последнюю фразу я взял уже не из живой речи Пинегина, не из разговора с Николаем Васильевичем, а из первой главы его книги «Записки полярника», изданной в 1936 году в Архангельске. Там я эту книгу впервые и увидел.

Известный полярный путешественник Роберт Пири, открывший Северный полюс, писал, что «каждый, кто посетил Север, заболевает неизлечимой полярной лихорадкой». На каких бы благодатных широтах после того ему ни довелось жить, его будет неизменно тянуть снова на Север.

Так случилось с Пинегиным. Побывав на Мурмане и в Лапландии, пошатавшись по безлюдной тундре и по рыболовецким становищам, перешагнув однажды за Полярный круг, он уже навеки стал пленником Севера.

Эта первая северная поездка имела немаловажное значение для Пинегина ещё и потому, что после того он взял в руки перо. Живописец открыл в себе и писателя. К слову сказать, писатель, едва родившись в Пинегине, тотчас стал помогать путешественнику, так как на те сто рублей, что Пинегин получил в качестве гонорара за первые свои очерки о Лапландии и Мурмане, он смог осуществить новую поездку.

Состоялась эта поездка во время студенческих каникул 1910 года.

На этот раз Пинегин шагнул много дальше прежнего и махнул на мало обследованную в те времена пустынную Новую

Землю.

Эта поездка сыграла в жизни Пинегина особую роль. Ещё на пароходе «Великая княгиня Ольга», привёзшем Пинегина на Новую Землю, он познакомился с морским офицером, возглавлявшим гидрографическую экспедицию, в задачу которой входило подробное обследование Крестовой губы. Офицером этим оказался Георгий Яковлевич Седов.

На Новой Земле знакомство молодого художника и молодого гидрографа переросло в крепкую и нерушимую дружбу.

Однажды между ними произошел следующий разговор, описанный Пинегиным в книге «Георгий Седов».

«- Хорошо здесь, - сказал Седов, сидя внутри палатки. - Никуда бы не уехал. Остался бы на зимовку.

- И я остался бы. Моя мечта прожить в полярной стране целый год. Написать бы гору этюдов.

- А куда бы девать стали? - вступил в разговор один из помощников Седова - студент Заболоцкий.

- Как куда? Написал бы с них картины. Устроил бы выставку. Это необходимо сделать. Необходимо показать всем, что такое - далёкий Север. Это одна из привлекательнейших стран.

- А моя мечта - попасть на полюс.

Художник быстро взглянул на Седова. Его лицо было серьёзно.

- Как, на самый полюс?

- Ну, разумеется. Вы думаете - не дойду? Дойду! Я знаю себя и говорю это твёрдо. И многие из наших могли бы, если б захотели как следует. Как глупо, что никто из русских не пытался достичь полюса. Ведь все мы выросли на снегу. Путешествие к полюсу - черная работа! Нужна привычка к холоду. Нужно знать лёд. Я знаю лёд и как по нему ходят!

Георгий Яковлевич сжал кулаки, расширил глубоким вздохом грудь.

- Эх, достать бы только денег на экспедицию. - И он ударил кулаком по койке. - Нет. Так или этак, - а на полюс я пойду! Даю себе срок два года. Будьте свидетелями!

- Подождите еще один год, - сказал художник. - Я Академию кончу, пойду вместе с вами.

- Идёт. Только не отказываться.

- Не откажусь.

- Ну, ладно. Пусть будет крепко!

Седов протянул руку художнику и сильно стиснул ладонь. Лицо его было серьёзно».

Таков этот знаменательный разговор, во время которого Седов, кажется, впервые в жизни высказал вслух свою затаённую и заветную мечту о завоевании Северного полюса.

Так два друга, двое молодых полярников-энтузиастов Севера утвердили крепким рукопожатием и нерушимым словом своё неколебимое намерение отправиться к неведомому и недоступному полюсу. Они остались верны своим намерениям и своим словам. Когда спустя два года Георгий Яковлевич Седов начал подбирать людей для полюсной экспедиции, то, по свидетельству участника её - профессора В. Визе: «Пинегин был первым, кого Седов пригласил участвовать в задуманной им экспедиции к Северному полюсу». Далее Визе сообщает: «Экспедиция вышла из Архангельска в 1912 году на судне «Святой Фока» и вернулась в Архангельск в 1914 году уже без Седова, скончавшегося на крайнем севере Земли Франца-Иосифа. На «Святом Фоке» Пинегин был самым близким Седову человеком».

Лишившись друга, Пинегин не изменил его памяти, не изменил и своей страстной приверженности Северу. В 1924 году Пинегин снова отправляется на Новую Землю, на этот раз по воздуху, что в те времена было ещё необычным для арктических путешествий. В составе экипажа известного полярного лётчика Бориса Чухновского он ведёт гидрографическую воздушную разведку над Новой Землей и прилегающей к ней частью Карского моря.

Спустя ещё четыре года по поручению Академии наук СССР Пинегин построил и до 1930 года возглавлял геофизическую станцию на Новосибирских островах. Зимовка по непредвиденным обстоятельствам затянулась. Судно, которое везло смену и продовольствие, застряло во льдах. Зимовщикам грозил голод. Тогда начальник станции Пинегин принял решение: всех зимовщиков отправить на материк, а сам с плотником Василием Бадеевым остается ещё на год - ждать смены. Он продолжал работать, стараясь растянуть продовольствие на срок, как можно более долгий.

Льды были тяжёлые, и существовала опасность, что и в следующую навигацию судно с продовольствием и сменой может не пробиться к островам. Пинегин всё более урезывает свой каждодневный паек. А когда урезывать уже было нечего… прибыла смена.

Но это ещё не было концом жестокой и опасной эпопеи. Надо было возвращаться на материк, домой, а путь предстоял дальний, в полторы тысячи километров до Якутска, причём, надо было пересечь полюс холода. Транспортных средств не предвиделось, и Пинегин добирался до Якутска на чём придётся - пешком, на собаках, на оленях, на лошадях. В тяжелых условиях он упорно пробивался к цели и достиг её. Ну, а что же дальше? Естественней всего, казалось бы, после труднейшего похода, после полной лишений и опасностей зимовки на Новосибирских островах - отдохнуть, пожить осёдло и спокойно в благоустроенной ленинградской квартире, вкусив после арктических мытарств и неустроенностей все блага цивилизации и комфорта. Но не таков был этот человек. Его не прельщал комфорт, а властно звал неуютный, необжитый и не обещающий покоя Север. Вернувшись с Новосибирских островов в 1930 году, Пинегин в тридцать первом плывет на «Малыгине» в составе экспедиции на Землю Франца-Иосифа. А в следующем году Николай Васильевич повторяет эту экспедицию как глава её.

В 1939 году, за год до смерти, Пинегин совершил свою последнюю поездку на Север. Мне довелось во время неё быть вместе с ним, а после сообща редактировать сборник «Советское Заполярье», явившийся результатом путешествия. Редактировали мы с Николаем Васильевичем собранные от четырнадцати авторов рукописи уже в Ленинграде, в его «полярном доме». Тогда-то, колдуя над северными рукописями, мы много говорили о Севере и, конечно же, о Седове. Только что вышла книга

Пинегина «Полярный исследователь Г.Я. Седов». Ранее были опубликованы книги Пинегина «Записки полярника», «Георгий Седов идёт к полюсу», «В ледяных просторах», которые либо целиком, либо частью своей посвящены описанию экспедиции Седова. Я спросил Николая Васильевича, намерен ли он ещё писать о Седове.

- Да, конечно, - ответил он не задумываясь и с категоричностью, какая могла показаться вовсе не свойственной этому спокойному, неторопливому в движениях, негромогласному человеку. - Всё, что пока сделано, - только этюды. Седов в полный рост ещё не написан. Я должен это сделать.

На слове «должен» он сделал ударение, и нетрудно было уяснить себе, как много скрывалось за этим требовательным «должен». В эту минуту я подумал, что Седов - не только друг Николая Васильевича, не только главная тема писателя Пинегина, но и дело его жизни, которое он будет продолжать до самой смерти, как Седов.

Я листаю старый, 1940 года, журнал «Звезда». В двух номерах его - десятом и одиннадцатом - идёт «Георгий Седов» Н. Пинегина.

Это, верно, и есть тот «Седов в полный рост», о котором Николай Васильевич говорил за год до этого, сидя со мной рядом и почти машинально листая редактируемую рукопись «Советского Заполярья».

Под последними строками «Георгия Седова» в номере одиннадцатом «Звезды» значится: «Конец первой книги». Увы, вторая книга не была закончена Пинегиным. В том же номере журнала, в котором кончалась первая глава «Георгия Седова», помещена статья В. Каверина «Памяти Пинегина». Это некролог. В 1940 году автор «Георгия Седова» умер, так и не дописав дорогой ему портрет.

Но у него были друзья, верные друзья, столь же преданные общему делу освоения Севера, как и он сам. И один из них - профессор В.Ю. Визе - дописал портрет Седова. По оставшимся в литературном наследии Пинегина материалам, по наброскам и нескольким законченным главам, заполняя пробелы материалом, почерпнутым из предыдущих книг Пинегина, Визе создал вторую

часть книги «Георгий Седов», которая полностью была напечатана в 1953 году. Эта книга - памятник одновременно и Седову и Пинегину, оставшимся неразлучными и после смерти.

Пинегин любил Архангельск и хорошо говорил о нём. В своих книгах он посвятил ему много отличнейших страниц. Невозможно забыть яркое и берущее за душу описание аукциона, устроенного в Архангельске для распродажи имущества экспедиции Седова и личных вещей Георгия Яковлевича для покрытия задолженности одному из архангельских купцов-толстосумов. Этот трагический и мерзкий аукцион описан Пинегиным с потрясающей силой.

Николай Васильевич бывал и живал в Архангельске в тысяча девятьсот восьмом, девятом, десятом, двенадцатом и четырнадцатом годах. Отсюда же уходил он и в свои многочисленные арктические экспедиции.

Мне приятно думать, что этот отважный и многосторонне талантливый человек был привержен милому мне Архангельску.

СУДЬБА КОРАБЛЯ

Ещё несколько страниц о капитанах. Русский Север всегда был богат отважными мореходцами. Кораблевождение, как и кораблестроение, было среди поморов делом тонко знаемым и весьма почитаемым. Поморы знали море, как родной дом, знали ветры, течения, снег, лёд, береговые знаки, погодные режимы и приметы, знали и морской и корабельный обиход, строили с высоким уменьем крепкие, ходкие корабли и водили их в океанские просторы, в злые льды Ледовитого океана с древних времен.

Не оскудел наш Север бесстрашными мастерами арктического мореходства и в новые времена. Один из героев его - архангельский капитан Александр Кучин. Закончив с золотой медалью Архангельское мореходное училище, Кучин отправляется для продолжения мореходного образования в Норвегию. Здесь он поступает в Бергене на океанографические курсы. Видный норвежский ученый Х. Хансен, под руководством которого Кучин занимался океанографией, высоко ценил своего талантливого ученика и, когда Руал Амундсен в 1910 году набирал команду знаменитого «Фрама» для экспедиции к Южному полюсу, Хансен порекомендовал своего ученика. Кучин, заключив четырнадцатого марта с Амундсеном контракт, стал участником этой трудной, но удачной экспедиции, открывшей в декабре следующего года, и тоже, по счастливому совпадению, четырнадцатого числа, Южный полюс.

Кучин был единственным русским участником открытия Южного полюса, и вклад его в это немаловажное предприятие был довольно значителен. Он выполнял на «Фраме» обязанности не только океанографа, но и штурмана, а также принимал участие в устройстве зимовки на побережье шестого континента. Он же был и в некоторой степени историографом этого плавания на «Фраме», так как часть пути вёл дневник экспедиции.

После такого трудного двухлетнего плавания не грех бы и отдохнуть, но, вернувшись на родину, Александр Кучин в навигацию 1912 года отправляется на другой край света, то есть на этот раз не на крайний юг, а на крайний север, не в Антарктику, а в Арктику.

Теперь он становится участником экспедиции Русанова на

Шпицберген и капитаном нанятой для экспедиции зверобойной шхуны «Геркулес». Русанову была поставлена задача найти на Шпицбергене не занятые американцами и норвежцами залежи каменного угля и поставить заявочные столбы, которые дали бы России право эксплуатации их и права на часть территории острова, на котором издавна зимовали и били зверя русские промышленники.

Русанов охотно согласился на эту экспедицию, но взял с собой продовольствия на полтора года, что казалось странным, так как до Шпицбергена морского ходу одна неделя. Никто не знал о планах Русанова, вынашиваемых им много лет - пройти вдоль берегов Сибири Северным путем до Тихого океана. Теперь, используя благоприятные обстоятельства, Русанов решил осуществить давнюю свою мечту.

Закончив работы на Шпицбергене, найдя уголь и поставив для России заявочные столбы, то есть полностью выполнив задачу, Русанов решил дальше уже на свой риск и страх продолжить экспедицию, отправиться на восток к Новосибирским островам и пробиваться дальше к Берингову проливу.

Он открыл свои планы дальнейшего плавания всем четырнадцати участникам экспедиции и спросил, кто из них хочет отправиться с ним в далекое плавание. Одиннадцать человек изъявили своё желание идти дальше с Русановым, а трое возвратились в Архангельск.

Итак, капитан Кучин повел «Геркулес» в дальний и опасный путь. Укрываясь от шторма, он зашёл в Маточкин Шар - пролив между Южным и Северным островами Новой Земли. Отсюда восемнадцатого августа 1912 года Русанов дал в Петербург телеграмму, в которой, раскрывая свои планы уже всей России, извещал, что идёт на восток по Северному пути.

Больше никаких известий о судьбе Русанова и его товарищей не было. Экспедиция исчезла, и следы её были обнаружены только двадцать два года спустя, когда близ устья Енисея на одном из островов был обнаружен вмёрзший в лёд столб с надписью «Геркулес, 1913 г.». Я видел этот невысокий столбик в музее Арктики и Антарктики в Ленинграде, как и некоторые другие мелкие вещи, найденные несколькими годами позже у северо-западных берегов Таймыра.

И это всё, что известно о судьбе экспедиции. Все одиннадцать участников ее погибли, в том числе и отважный архангельский капитан Александр Степанович Кучин. Его взяло холодное полярное море, как и многих других северных мореходов.

Но на смену погибшим исследователям Арктики являлись наследники их свершений, которые уходили в далёкие опасные рейсы, чтобы торить новые морские и ледовые пути. Иные, как Владимир Воронин, водили по океанским курсам корабли до славной и почётной старости.

В Архангельске и Соломбале старых поморских капитанов было немало. Арктические путешественники, собираясь в свои экспедиции, не раз прибегали к их помощи и совету.

Когда Георгию Седову пришлось искать корабль для своей экспедиции к Северному полюсу, он прежде всего вспомнил о своих архангельских друзьях-капитанах. Приехав в начале июня 1912 года в Архангельск, Седов велел извозчику ехать с пристани не в гостиницу, а к давнему приятелю лоц-командиру Елизаровскому, который жил в Соломбале неподалеку от портовых мастерских. По свидетельству Н. Пинегина, «Елизаровский принял гостя радушно. Узнав, что главная забота - найти подходящее судно, послал за знакомыми поморами - посоветоваться с ними.

Первым пришёл Лоушкин, старый поморский капитан. Вошёл в горницу по-старинному: стал у порога, отвесил поклон, перекрестился и снова раскланялся. Подал ладонь лопаточкой, разгладил широкую сивую бороду, заворковал по-поморски:

- Как ваше здоровьице? Гляди, и меня вспомянули. Довелось и старому коту с печи скочить. Пришёл с бани, а жёнка сказывает: «Миколаич, по тебя от командира приходили». А от какого командира - сама не знает. «Ты чё, дура, не спросила?» - говорю. «А ты чё не сказывал, какие у тебя командиры знакомые?» - «А на что тебе знать!» - «А чтоб при глупом муже самой в дурах не быть!» Вот так отбрила! Ой, бабий ум - что коромысло: и криво, и зазубристо, и на оба конца. И толковать больше не стала. От куфарки узнал, кого по меня посылали, потому и сдогадался…

Словоохотливый капитан стал припоминать, какие же есть свободные от фрахта суда.

- Вот «Геркулес» у стенки стоит, «Митрей Солунский», «Андромеда». Да нет, маловаты!… Постойте, робята, пошто далеко ходить… Вот стара память! Есть судно, вам подходящее. Вчерась мимо шёл, калошу завязил как раз насупротив него. Еще спросил у штурмана: «Как, под груз стали или чё!» - «Каки там грузы! Только и грузили старые швартовы; истёрлись о рым. Другого груза с зимы не видали»… Пойдём, командиры, посмотрим.

Моряки пошли на берег Двины. Недалеко стояло судно с двумя высокими мачтами и длинным утлегарём. Спереди, по капитанскому мостику, крупная надпись: «Святой мученик Фока»…

Когда возвращались к Елизаровскому, Лоушкин рассказал всю подноготную и про судно, и про владельца. «Святому Фоке» сорок два года, куплен в Норвегии, за границей ходил под названием «Гейзер».

- Думайте, думайте, командиры. Десять раз примерь, однова отрежь. А только верьте моему слову неложному: лучше судна не найти.

Командиры думали, и не только думали, но и действовали. Седов и Елизаровский вместе с Лоушкиным сперва осмотрели корабль снаружи, потом спустились под палубу поглядеть паровую машину и трюм. Снаружи судно производило хорошее впечатление: отличные обводы, руль, сделанный из толстых дубовых брёвен, скреплен полосовым железом. Вся кормовая часть обита котельным железом. Окован железом и форштевень.

Не менее внушительное впечатление производил корабль и изнутри. Весь корпус - из дуба, а обшивка не одна, а три: две наружные и одна внутренняя.

Судно могло ходить и под парусами и двигаться при помощи паровой машины. Таким увидел «Св. Фоку» Седов в начале июня. А двадцать седьмого августа 1912 года его увидел весь Архангельск.

Мы, мальчишки, само собой разумеется прознали о седовской экспедиции к Северному полюсу задолго до её отплытия, прознали по нашему изустному, незримому телеграфу, подобному Длинному уху окраинных полупустынь Средней Азии

в эпоху, предшествующую радио.

Наше Длинное ухо было по преимуществу водяным. Все лето мы проводили у воды, околачиваясь целые дни на пристанях, и были отлично осведомлены о главнейших событиях дня в порту, о приходящих и уходящих кораблях и пароходах. Всякого рода экспедиции, отправляющиеся в дальние северные моря, были у нас на особом учёте.

На пристани дальнего плавания двадцать седьмого августа мальчишки появились спозаранку. «Св. мученик Фока» пришёл из Соломбалы, где грузился перед отправкой.

Был чудесный, ясный день. Я это пишу несмотря на то, что пятьдесят семь лет спустя в фондах музея Арктики и Антарктики в Ленинграде на фотографиях, изображающих церемонию отплытия «Св. Фоки», я, к изумлению своему, увидел раскрытые зонтики над головами иных из провожающих.

Зонтики были, правда, немногочисленны, но всё же… Вот уж, поистине, - не верь глазам своим. Но тогда чему же верить? Памяти? Я этого очень хотел, но вдруг права не она, а объектив фотоаппарата - недаром же так сродни ему слово «объективность».

Я стал искать союзников моей памяти. И нашёл их. Первым оказался свидетель событий настолько профессионально зоркий и бесспорный, что едва ли возможно ему не доверять. Свидетель этот и мой союзник - Николай Васильевич Пинегин. В своих воспоминаниях о дне отплытия экспедиции из Архангельска он пишет: «Много раз потом в тесной, еле освещённой каюте вспоминалось мне это прелестное августовское утро, яркость и пестрота одежд на берегу, тысячи блестящих глаз…»

Если бы шёл дождь, то Пинегин не назвал бы это утро «прелестным» и не отметил бы «яркости и пестроты одежд на берегу».

Уже одного свидетельства такого авторитета, как Пинегин, было бы, на мой взгляд, достаточно для реабилитации моей памяти, но у меня есть ещё один союзник, и тоже довольно солидный - сам фотообъектив. На снимке, о котором идёт речь, видны не только зонтики, но на некоторых мужчинах и соломенные с твёрдыми полями шляпы-канотье, которые никто в

дождливую погоду не надевал. Кроме того, на воде много солнца, хотя в небе есть и облака… Но зонтики, чёрт бы их побрал, - почему раскрыты зонтики, и не солнечные, по-видимому, над иными головами? Может быть, погода была то, что нынче принято называть переменная - то дождик, то ясно? Может быть. Что касается меня, то я, вопреки зонтикам, решительно утверждаю - день был ясный, солнечный.

Отплытие было назначено, кажется, на двенадцать часов пополудни, и к этому времени на пристани собралось множество народу, а на реке вблизи «Фоки» множество лодок и моторок. Но ни в двенадцать, ни в час «Фока» не ушёл из-за сильно затянувшейся торжественной церемонии проводов - торжественной, вопреки желанию и воле Седова, как я узнал много лет спустя.

На пристани становилось всё тесней. Из собора прибыла большая группа попов во главе с архиереем. Поблёскивая золочёными ризами, они принялись готовиться к молебну. Позади них расположился церковный хор. Приехал в лакированной коляске вице-губернатор, и начался молебен.

Меня больше интересовали собаки в стоящих на палубе клетках. Громким лаем, воем и визгом псы недружно вторили церковному хору, и я бы с удовольствием пробрался к ним поближе. Но я побаивался пробиваться в первые ряды, потому что находился, так сказать, на нелегальном положении. Каникулы кончились почти две недели тому назад, и в это время, дня я должен был находиться в стенах реального училища, в котором не слишком усердно проходил предусмотренный программой курс наук. Но в этот день, пренебрегая науками и училищным распорядком, я сбежал со второго урока на пристань дальнего плавания, чтобы не прозевать уход «Святого Фокл». Опасаясь попасться на глаза кому-либо из педагогов, которые могли случиться на проводах, я и не совался в первые ряды, держась всё же настолько близко к «Фоке», чтобы оставаясь скрытым в толпе, всё видеть и слышать.

После торжественного молебна говорились речи и произносились напутственные пожелания. Но в центре всеобщего внимания были не эти речи, не их ораторы, не высокопоставленные чины во главе с вице-губернатором, группировавшиеся возле борта «Святого Фоки», и даже не два кинооператора, снимавшие проводы, что по тем временам было

чрезвычайной новинкой. Все глаза были устремлены на начальника первой русской экспедиции к Северному полюсу - Георгия Седова.

Он стоял - плечистый, не очень ловкий, простолицый, с подстриженной клинышком светлой бородкой и не очень большими, но густыми усами. На нём был белый китель с погонами старшего лейтенанта, на голове - морская фуражка с белым верхом. Выдвинувшись несколько вперёд, он глуховатым голосом прочитал приказ об отплытии. Потом в руке его и в руках вице-губернатора и других важных лиц из провожающих появились стопки с красным вином. Выпили за удачу экспедиции, грянул оркестр архангелогородского запасного батальона.

Когда, наконец, под медное пение труб военного оркестра «Святой Фока» отвалил от пристани, было уже около трех часов дня. Все закричали «ура», замахали платками, шляпами, зонтиками, тросточками - у кого что было в руках. Портовый буксир потащил толстобокого, низко сидящего «Фоку» на фарватер, где стояли округлые красные бакены.

Следом за ними устремились лодки и катера, а мы, мальчишки, припустили вдоль берега в ту сторону, в какую должен был плыть корабль. Сперва держаться вровень с ним было нетрудно, так как он шёл поначалу не прямо по курсу, а выбирался на середину реки. Да и шёл он не своим ходом, а на буксире.

Мы в это время бежали по берегу и потому не отставали. Но мало-помалу «Фока» стал удаляться от нас. Поустав, мы невольно сбавили ход. К тому же, пробежав километра два, мы были остановлены рекой Кузнечихой. Тут мы, сгрудясь кучей, долго махали шапками, кидали их вверх. Кто-то стащил с себя рубаху и размахивал ею, как флагом. А «Фока» уходил всё дальше и дальше, пока не превратился в чёрную точку, и, наконец, исчез за горизонтом.

Увидели его архангелогородцы только два года спустя - шестого сентября 1914 года. Он пришвартовался к той же пристани дальнего плавания, от которой уходил. Но сам он был уже не тот. На нём не было начальника экспедиции Георгия Седова, героически погибшего в санном походе к полюсу. Часть людей вернувшегося экипажа жестоко страдала от цинги, и их прямо с пристани отправили в больницу.

Корабль представлял собой зрелище, щемящее сердце. Преступно снабженный, преступно брошенный на произвол судьбы в критическом положении, без помощи, без угля, который должны были доставить на пароходе к Земле Франца-Иосифа, но не доставили, «Святой Фока» возвращался на родину своим ходом, пробиваясь сквозь льды на парусах. На топливо в последние перед тем дни пошло всё дерево, какое только было на корабле. Сожгли в топках все палубные надстройки, кроме капитанского мостика и наружных стенок юта. Сожгли переборки кают, мебель, запасные части такелажа, даже верхние части мачт. Без балласта, выброшенного за борт во время одной из свирепых схваток со льдами, с расшатанным за двухлетнее труднейшее плавание корпусом, с выбывшими из строя паровыми помпами, текущий, как решето, «Фока» походил на бойца, израненного в долгих, изнурительных, жестоких боях.

Да так оно и было на самом деле. «Фока» был боец, славный, бесконечно выносливый боец с пространством, с бурями, льдами, невзгодами, с предательством и подлостью. Раны, нанесённые всеми этими врагами, были, к сожалению, неизлечимы. Да их и не пытались лечить. Царское правительство и его сановники, Главное гидрографическое управление, тучи дельцов и чиновников, нажившихся на экспедиции, палец о палец не ударили, чтобы позаботиться о вернувшихся членах экспедиции и об израненном корабле.

Напротив, на него набросились разбойники и мародёры всех рангов. В уплату за долг какому-то «купцу первой гильдии Мартынову» было продано с молотка имущество экспедиции, добытые на охоте шкуры зверей, мореходные инструменты, личное оружие Седова, безжалостно выломанные части корабельного оборудования: литые иллюминаторы, обшивка люков, трапов, поручней, даже пароходный гудок.

Варварски ограбленный, изуродованный, ободранный, приведённый в полную негодность, «Фока» долго полулежал на мели против таможни. Мы, мальчишки, во время купанья подплывали к нему, взбирались через накренённый к самой воде борт на корабль, чтобы вслед затем с противоположного, вскинутого над водой борта броситься в воду.

«Святой мученик Фока» был поистине мучеником. Не дожил он, бедняга, до советских времен, когда, несомненно, стал бы

почётной и оберегаемой реликвией, как ветеран борьбы за освоение Арктики, реликвией, подобной нансеновскому «Фраму», который норвежцы свято хранят, построив для него в Осло специальный музейный павильон.

Судьба «Св. Фоки», как и судьба тех, кто водил и населял его в последнем походе, даже судьба вещей, служивших им в плавании через льды и туманы в белом безмолвии на север, в высокой степени трагична.

Впрочем, пятьдесят пять лет спустя мне довелось увидеть одну из самых примечательных вещей с «Фоки». Вещь эта - древко русского флага, который Седов намеревался водрузить во славу своей Родины на Северном полюсе.

Древко заключено в висящий на музейной стене двухметровый футляр. Оно сильно ободрано, хотя и сделано из крепкого дуба и оковано внизу металлическим наконечником. Медная оковка не охватывает и середину древка. На ней выгравировано было буквами латинского алфавита: «Экспедиция старшего лейтенанта Седова к северному полюсу. 1914». За долгие годы эта надпись поистёрлась, и сейчас можно прочесть только остатки её на зелёно-чёрной округлости оковки «Sedov… pol… exped… 1914».

Неподалёку от древка в витрине за стеклом и сам флаг, который должен был развеваться над полярными льдами. Впрочем, если быть точным, это уже не флаг, а обрывки, остатки его - десятка два рваных, потерявших цвет и форму лоскуточков.

Тут же, возле остатков флага, - топорик, обрывки меха и брезента. Все это вещи, которые были с Седовым в пути после того, как он и матросы Александр Пустошный и Георгий Линник оставили второго февраля 1914 года зимовавшего второй год «Св. Фоку» и отправились от Земли Франца-Иосифа с тремя нартами к Северному полюсу. Девятого марта Линник и Пустотный опустили тело умершего в пути Седова в выдолбленную киркой неглубокую могилу. Место захоронения Седова до сих пор не обнаружено. Вещи же, о которых речь шла выше, нашли на мысе Аук двадцать четыре года спустя, то есть в 1938 г., зимовщики острова Рудольфа. Сейчас эти вещи находятся в музее Арктики и Антарктики в Ленинграде.

…Я стою перед ними, смотрю на истлевшие обрывки флага и

вижу Седова возле борта своего корабля на пристани дальнего плавания в Архангельске, вижу таким, каким видел в 1912 году. Он невысоко поднимает стопку с кроваво-красным вином за удачу экспедиции.

Удачи не было. И не только седовской экспедиции. Все три начальника всех трёх русских экспедиций 1912 года не возвратились домой, а из трёх кораблей вернулся только один - истерзанный, искалеченный «Св. Фока».

Удачи и не могло быть в те мерзкие времена. Удачи пришли с Советской властью. Трёхцветный флаг царской России не был водружён на полюсе. А совсем недавно на полюсе высадились зимовщики советской полярной станции «СП-21». Двадцать один флаг Советского Союза на «Северном полюсе»! Что сказал бы Георгий Седов, если бы мог быть этому свидетелем? Какова была бы судьба «Фоки», если бы он уходил в далекий свой поход, снаряженный советскими людьми, советским государством? Вне сомнений, судьба его сложилась бы иначе. Судьбы кораблей стали сейчас иными, потому что стали иными судьбы людей.

Но прошлых судеб забывать нельзя.

Не забыть и мне во веки веков полулежащего на мели «Фоку», - ограбленного и брошенного, одинокого и полузатонувшего.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Называли его в шутку новоземельским королём, а иной раз новоземельским президентом. На самом деле он был больше, чем король или президент, - он был председателем островного Новоземельского Совета депутатов трудящихся, председателем тридцать два года кряду, пока на склоне лет не переехал на жительство в Архангельск. Человека с таким стажем председателя Совета вам встретить едва ли ещё когда приведётся. Явление чрезвычайное.

Впрочем, и сам Совет депутатов трудящихся на далёкой, малоисследованной, малодоступной, обледенелой Новой Земле, лежащей в арктических широтах, между семьдесят вторым и семьдесят седьмым градусами, явление чрезвычайное в такой же степени, в какой и его бессменный председатель - ненец Тыко Вылко.

До революции ненцев звали самоедами. Почему так - никто толком объяснить не может. Ненец в переводе на русский язык значит - человек, значит, ненцы - люди. Увы, той простой истины, что ненцы - это люди, царское правительство и его чиновники ни признать, ни понять не хотели, и по причинам неведомым, а скорей всего - из презрения к «дикарям-инородцам», наделили их нелепым прозвищем - самоеды. Эта безобразная и бессмысленная кличка утвердилась постепенно и в официальных документах, и в литературе, и в быту.

Недавно, перечитывая северные сказки, собранные Н. Ончуковым, я наткнулся на сказку, записанную от Григория Кашина из посада Нёнокса - «Забытый на Новой Земле». В примечании к сказке Кашин говорит: «Слышал от стариков. Это было давно, когда ещё на Новой Земле не жили самоеды».

Когда же это было? И когда самоеды, то есть ненцы, появились на Новой Земле? И почему именно на Новой Земле? На эти вопросы, хотя они кажутся и трудными, ответить можно довольно четко. Можно даже назвать дату появления поселенцев-ненцев на Новой Земле, даже имя первого постоянного жителя Новой Земли. Это был Фома Вылко. И случилось это в 1869 году.

Был ли этот Фома Вылко дедом или прадедом героя нашего очерка, что из сопоставления дат появления Фомы на острове и

года рождения Тыко можно было бы предположить? Едва ли. По-видимому, Вылко было распространённым родовым именем среди ненцев (то, что мы зовем фамилией), таким же распространенным, как Хатанзеи, Тайбареи, Ледковы. Поэтому вернее всего Фома Вылко был просто однофамильцем Тыко.

Почему и по каким причинам живущие на Большой Земле, по берегам Ледовитого океана и северных морей ненцы выселились на Новую Землю? Они убегали от не дававших им житья царских чиновников, от сборщиков подати, под видом сбора ясака просто-напросто их грабивших, от кулаков, закабалявших не только их самих, но и детей, переводя на них долги, числившиеся за отцами. Бежали ненцы куда глаза глядят, лишь бы подальше от разорявших хозяйства их грабителей, бежали на необитаемые острова, где не могли достать их длинные загребущие руки чиновников, сборщиков ясака, и кулаков.

Так постепенно заселялись сперва прибрежные, а потом и дальние пустынные острова. Так заселена была и Новая Земля. Так батрак Фома Вылко, забрав семью, собак, разобранный чум и весь скарб, ушел тайком от хозяина на своём карбасе в неведомые морские дали искать пристанища и после многих мытарств нашёл его на Новой Земле. Сюда же некоторое время спустя выселились ещё несколько ненецких семей.

Кстати, русские поселенцы пришли на Новую Землю двадцатью годами позже ненцев тем же путем, и гнала их сюда с материка та же горькая нужда и тот же нестерпимый кулацко-чиновничий гнёт.

Виктор Страхов - уроженец Пинеги, много путешествовавший по Северу, рассказывает в книге «На лесной реке» о встрече своей в 1924 году с русским поселенцем на Новой Земле, своим земляком-пинежанином Яковом Запасовым.

Батрак Запасов, бежавший от своего хозяина-кулака, прибыл на Новую Землю после тяжкого и опасного восьминедельного плаванья вдоль побережья Северного Ледовитого океана на вёсельном карбасе, как и Фома Вылко, как и другие новоземельские ненцы, в числе которых был и Константин Вылко - отец Тыко.

Тыко родился уже на Новой Земле и прожил на ней семь десятков лет. Я не бывал на Новой Земле и видел Тыко Вылко

только однажды на выставке его картин. Это было в 1911 году.

Я учился тогда в реальном училище и увлекался рисованием. Целые вечера просиживал я за большим, покрытым старенькой протёртой клеёнкой обеденным столом с итальянским карандашом или с кисточкой для акварельных красок в руке, рисуя то усатого Шевченко, то измождённого Достоевского, то перерисовывая левитановские пейзажи, а то и просто поставленный на стол стакан с ромашками, что, кстати сказать, было делать трудней и пышных шевченковских усов и впалых щёк Достоевского.

Возможно, увлечение моё рисованием и усидчивость моя не были бы такими стойкими, если бы рядом со мной за тем же столом не сидел мой закадычный друг и товарищ Ванюша Быков, увлекавшийся рисованием столь же страстно, как и я.

Ванюша был года на три старше меня и работал учеником в часовой мастерской. Сколько долгих зимних вечеров просидели мы за памятным большим столом в нашей убогой квартире на Поморской улице десять, счесть невозможно И о чём только ни говорили мы, склонясь каждый над своим рисунком в эти тихие вечера, в которые зародилась и окрепла наша мальчишеская дружба.

Она крепка и сегодня, хотя теперь мы, увы, далеко уже не мальчишки и хотя я живу в Ленинграде, а Иван Иванович Быков всё там же, в родном своём Архангельске, где не так давно отпраздновал своё семидесятипятилетие, а вскоре после того и пятидесятилетие пребывания в партии.

Кстати, в работе моей над этой книгой Иван Иванович немало помог мне. Он присылал мне альбомы Архангельска, книги, справочники, переснятые фотографии старого Архангельска, хранящихся в областном краеведческом музее, сообщал нужные мне сведения в частых и обстоятельных письмах.

Именно с Ванюшей Быковым были мы, помнится, в числе первых посетителей открывшейся в Архангельске выставки картин «самоедского самородка с Новой Земли Ильи Вылки». Илья - было русское имя Тыко, данное ему при насильственном крещении ненцев царским правительством.

Посетителей на выставке было не слишком много, но зато

здесь присутствовал сам Тыко. Он скромно стоял в углу первой комнаты, и возле него был только один человек - маленький рыжебородый, длинноволосый. Его я знал, как знал его весь город. Это был Архангельский художник Степан Писахов. Он познакомился с Тыко Вылко на Новой Земле, хотя тогда я и не знал этого.

Я во все глаза глядел на Тыко. Он, как и Писахов, был мал ростом, но более худощав, скуласт и темен лицом.

Впервые в жизни я видел ненца в европейской одежде. До сих пор, если я и встречал ненцев в Архангельске, то только в малицах, в мягких меховых пимах, и только зимой, когда они появлялись под городом и катали архангелогородцев по просторам заснеженной Двины на лёгких высоких нартах с четырьмя крепенькими невысокими оленями в запряжке.

Это было для меня, как и для всех архангелогородцев, зрелищем привычным. Но ненец в пиджаке, брюках и ботинках, да еще ненец-художник - это было совершенной, невиданной диковиной, и я не знал, на что мне смотреть - на него или на его картины.

В конце концов страсть к рисованию, приведшая меня на выставку, взяла своё, и я, правда, с трудом оторвавшись взглядом от Вылко, обратил внимание на его картины. Это были новоземельские пейзажи - лёд, заснеженные горы, море. Деталей тогдашних картин я не могу сейчас передать: шестьдесят прошедших с тех пор лет стёрли подробности, притушили краски, сгладили очертания. Ожили они для меня тогда, когда я недавно, попав в ленинградский музей Арктики и Антарктики, снова встретился с Тыко Вылко и с его картинами…

Тыко уже десять лет не было в живых, и я стоял перед его портретом. На нем - Вылко в морском кителе, у него густые тёмные усы, отброшенные с высокого лба назад тёмные с проседью волосы, пристальные глаза. Умное лицо сильного мужественного человека, прожившего трудную, большую жизнь.

Как тогда в Архангельске, много лет назад, я, поглядев на Тыко, обратился к его картинам и рисункам. Их было не так много - всего пятнадцать: акварель, пастель, итальянский карандаш по большей части с подцветкой акварелью или цветными карандашами. Все картины невелики по размеру, но

вмещают в себя целый мир - огромный, неведомый нам, первозданно прекрасный, но уже обживаемый человеком.

Обживание обледенелого мира Новой Земли, пожалуй, главная тема работ Тыко Вылко. Чистых пейзажей, где была бы природа, но отсутствовал человек, у Вылко немного. Из пятнадцати работ, выставленных в музее, таких всего три. Все три как будто схожи друг с другом, но все три очень разные. На переднем плане у них во всю ширину - море, на заднем - гряда невысоких гор мягких очертаний. На двух - плавающие айсберги, на третьем- вместо айсбергов словно рукой исполина брошены в море причудливые обломки скал.

Об этом последнем, поражающем воображение пейзаже хочется сказать отдельно. Он выделяется какой-то фантастической сказочностью. Дикие скалы омывают воды удивительной, завораживающей глаз синевы. Такая яркая синь не совсем обычна для пейзажей Вылко. Как правило, у него нет ярких цельных тонов. Все картины Вылко сдержанны по колориту, скромны, некричащи; в них преобладают нежные зеленовато-голубоватые и желтовато-сероватые тона с неприметными переходами один в другой. Выделяется на них отчётливо только белизна снега. Белый цвет, пожалуй, самый яркий цвет в колорите картин Тыко Вылко.

Мы привыкли считать, что белый цвет это почти не цвет, во всяком случае не живописный, не сильный цвет. И вдруг, он оказывается определяющим главное в колорите, и притом он живописен, очень живописен.

В чём же тут дело? В чём причина особой роли и особой живописности белого цвета в работах Вылко? Прежде всего в том, что это не только элемент колорита, но и совершенная реалистичность. Ведь всё, что изображено художником, это подлинные картины жизни, картины природы Новой Земли. Они знакомы Тыко Вылко до мельчайших мелочей, знакомы с колыбели; они вросли навечно в его плоть и кровь, в его сознание, в его биографию. Изменить им, лгать, представлять их иными, чем они есть, было бы противно природе художника.

Итак, реализм. Да, так. Но и не совсем так. Реализм Тыко Вылко не исчерпывается верной, правдивой передачей картин природы и деталей новоземельского быта. Белый снег в горах - это не просто белый снег. Это и очарование белого безмолвия,

подобное жестокому очарованию джеклондоновского Великого безмолвия Севера, его особая атмосфера, его поэзия и романтика.

Я стою перед пастелью, названной художником «Становище на Новой Земле». Это работа 1921 года. Она многопланова, сложна по композиции и превосходна по выполнению. Перед нами залив с далеко вдающимся в него мысом. На мысе - высокая башня: маяк или здание какой-нибудь научной станции. Справа, на подходах к башне, видится угол низенького дома - возможно, жилья работников станции. На переднем плане - крыша другого дома с трубой. По дуге вдающегося в сушу залива - вытащенные на берег лодки и рыболовная снасть. Залив оживлён. На нём бот с двумя мореходами, лодочка с гребцом в ней, на двух задних планах - идущая под парусами ёла и дальний низкий берег. Залив спокоен, и рубка бота вся отражена в недвижной воде.

Однако и спокойствие вод и спокойствие людей, занятых своими обычными делами, сразу может показаться ненадежным и трудным, когда взглянешь на грозовые тучи, зловеще клубящиеся над ними. Сделаны эти причудливые клубки туч великолепно. Это самый живописный план картины, но дело тут не только в их фантастической живописности, но и в смысловой нагрузке, которую они несут. Эти грозовые тучи над тихой водой и мирным становищем настораживают, напоминают о злых силах природы, которые противостоят созидательным усилиям людей, обживающих этот суровый край.

Я уже говорил о том, что обживание этой дальней, неласковой к людям, голой земли составляет главную тему картин Тыко Вылко. Человек и его дело на Новой Земле присутствуют почти в каждой картине, в каждом рисунке Вылко.

Если Вылко пишет или рисует море, то по просторам его или бежит корабль или хотя бы малая лодочка. Если по заливу плывут утки, то неподалеку обязательно стоит целящийся в них охотник.

Сами названия, данные художником своим работам, сразу же заявляют о занятиях новоземельцев, их жизненных интересах. Вот некоторые из названий: «Бот на Новой Земле», «Постройки на берегу залива», «Рыбаки на берегу», «Охота на морского зверя», «Корабль в море». Даже рисуя птичий базар на береговых скалистых террасах, Тыко по заднему плану пускает дымящий пароход.

Тема освоения Крайнего Севера не случайно пронизывает всё творчество Тыко Вылко. Для того, чтобы понять это, надо приглядеться не только к картинам Вылко, но и к его жизни. Вот как рассказывал о ней Тыко в разговоре с Михаилом Скороходовым:

«Жили мы в чуме. Грязь, дым. Били морского зверя, белых медведей, добывали песца, ловили гольца и треску. Голодали часто. Особенно плохо было с тысяча девятисотого года по тысяча девятьсот седьмой год. Ружья у меня не было, стрелял гусей из лука. Стрелял метко… И знал, что если не подстрелю птицу, вся семья будет голодать…»

Скороходов делает к этому рассказу Вылки следующее примечание: «Безоленные ненцы, не имевшие никаких средств к существованию, уходили на «едому». Снежная яма или жалкое подобие чума из рваных шкур и бересты, нищенствующая ненецкая семья, не имеющая ни одного оленя, - вот что такое «едома». Илья Константинович говорил, что одно это слово когда-то наводило ужас на ненцев».

Хлебнул этой доли и Тыко Вылко, как сам рассказал:

«Раньше я в снежной яме жил. Старую нерпичью шкуру ел. Сначала на огне нагревал, чтобы мягкой стала, и ел. Голодали ненцьг, многие умерли…»

Многие, очень многие умерли. Зарегистрированное количество ненцев на русском Севере с 1899 до 1912 года уменьшилось с восьми тысяч до двух тысяч. Оно бы, вероятно, дошло и до нуля, если бы не Советская власть, спасшая ненцев от полного вымирания и давшая им новую жизнь.

Но пока не пришла эта новая жизнь, чего-чего не натерпелся Тыко. Сколько раз мужество, находчивость, нечеловеческая выносливость и меткий глаз охотника спасали жизнь ему, его семье, его спутникам. Кормила только охота, а она на Новой Земле часто была сопряжена со смертельной опасностью.

Вот два примера, взятые из дневниковых записей Тыко Вылко и приведённых в книге К. Коничева «Люди больших дел». Первая сделана Вылко в 1906, вторая в 1908 годах.

«…В августе трое братьев ехали на охоту на высокую гору.

Нашли три оленя. Убили всех. Ехали домой, ледяное поле, поехали полем, встретилась скала. Были выше облака. Стали опускаться. Я сказал братьям: «Давай пустим сани без собак». Сани задели камень. Камень провалился. Шум. Все камни с горы полетели. Гора трясётся. Камни нас не убили. Мы кое-как спустились… Ехали на собаках на Карскую сторону Новой Земли. Градусник был, лопнул от холода. Зарылся, лежал под снегом четверо суток. Половина собак погибла от холода…»

«…1908 г. В октябре на охоту. Проехали 60 верст, нашли рыбную реку. Поставили юрту. Пили чай. Вдруг ветер сильный. Мы не заметили, как вылетели из юрты. Ни чашек, ни чайника, ни ружья, ни саней, ничего нет, все ветром унесло. Друг друга не видим. Кроме своих рук, ничего не видим. Я крикнул спутникам: «Где вы!» Они собрались, кричали собак. Тут всю ночь сидели».

Случилось однажды в голодный год, что, подстрелив чайку, Тыко кинулся за ней, но вместе с небольшой снежной лавиной полетел по обледенелому склону в пропасть. Гибель казалась неминуемой, и, может статься, другой на месте Тыко и погиб бы. Но Вылко, отличавшийся молниеносной реакцией на всякие неожиданности, какие могут встретиться на охоте среди новоземельских снегов и льдов, в последний момент изловчился и, успев выхватить из-за пояса крепкий охотничий нож, вонзил его в расселину и повис над пропастью, избежав неминучей смерти.

Поворотным пунктом в биографии Тыко Вылко была встреча с Владимиром Русановым. Русанов бывал на Новой Земле пять раз. Впервые появился он здесь в 1907 году. Тогда Тыко и познакомился с Русановым, который, по его словам, был «… простой человек, старательный. Одет очень бедно, с лица добродушный… А знал он много-много. Сильно учёный был».

Русанов тогда взял в своё путешествие по Новой Земле проводником не Тьгко Вылко, который был ещё слишком молод, а другого ненца, бывалого, опытного охотника Ефима Хатанзея.

Во второй поход по Новой Земле в 1908 году Русанов взял проводником Константина Вылко - отца Тыко. И, наконец, в следующем 1909 году, приехав вновь на Новую Землю, Русанов взял себе в помощники и проводники уже Тыко Вылко и его двоюродного брата Санко. Тыко к тому времени имел свои собственные карты многих участков Новой Земли и побережья,

которые он составлял во время своих охотничьих и обследовательских походов.

На этот раз Русанов вместе с Тыко и Санко отправился на лодчонке морем вдоль западного побережья северной части Новой Земли. Шли от Крестовой губы на север до полуострова Адмиралтейства. Путь предстоял не близкий - около полутораста верст, и опасности подстерегали путешественников на каждом шагу. «В ночное время, в туманы, в пургу, - рассказывал позже Тыко Вылко (рассказ записан К. Коничевым), - Русанов мне доверял командовать лодкой. Я по волнам определял, по качке - плывём ли мы мимо мыса или мимо залива или ударились в открытое море, - мне компас не надо. Компас нужен учёным - меня проверить. А я правлю без ошибки. Опять же Русанов часто удивлялся, как иногда, идя по берегу с ним, за сутки предсказывал, что скоро мы встретим стадо диких оленей и у нас тогда пища будет. Он удивлялся моему предсказанию, а ведь и угадать было просто: наши ненецкие собаки за много вёрст слышат по ветру запах оленя и вкусно нюхают воздух. Вот и вся премудрость…»

В другом месте рассказа Тыко о своих «угадываниях» говорит так: Русанов «учил, учил, да и сам иногда от меня учился. Бывало поспорим; он по старой чьей-то карте поглядит, скажет: «Должна быть бухта или должен быть остров». Я послушаю, пошевелю мозгами, доказываю: Нет, говорю, тут острова… И окажется - нет. Ему было любо, что я угадывал. А «угадать» мне нетрудно: во-первых, я много где сам побывал, во-вторых, старики ненцы сказывали».

О своём помощнике, товарище и проводнике в трёх новоземельских экспедициях Тыко Вылко Русанов был самого высокого мнения. Вот как отзывается о нём Владимир Александрович, рассказывая о своём плавании у берегов Новой Земли в 1910 году на «Дмитрии Солунском»:

«У полуострова Пять Пальцев «Дмитрий Солунский» только чудом не сел на подводные камни. Кстати сказать, что этот полуостров, как выяснилось, совершенно неточно обозначен на карте и очень верно был снят Ильей Вылко. В продолжение трёх лет занимался этот замечательный самоед съёмкой, малоизвестных восточных берегов Новой Земли. Ежегодно он продвигался на собаках всё дальше и дальше к северу. Терпел лишения, голодал. Во время страшных зимних бурь целыми

днями ему приходилось лежать под скалой, крепко прижавшись к камню, не смея встать, не смея повернуться, чтобы буря не оторвала его от земли и не унесла в море. В такие страшные дни гибли одна за другой его собаки. А ненец без собаки в ледяной пустыне - то же, что араб без верблюда в Сахаре. Бесконечное число раз рисковал Вылко своей жизнью для того только, чтобы узнать, какие заливы, горы и ледники скрыты в таинственной манящей дали Крайнего Севера. Привязав к саням компас, согревая за пазухой закоченевшие руки, Вылко чертил карты во время самых сильных новоземельских морозов, при которых трескаются большие камни, а ртуть становится твёрдой, как сталь».

Русанов ценил не только мужество и преданность Тыко Вылко, он видел, ценил и старался развивать и художническое дарование своего новоземельского товарища и друга.

Рисовать Тыко начал с самых ранних лет.

На Новой Земле конца прошлого и начала нынешнего века карандаш достать было неоткуда, и приходилось Илье на первых порах обходиться подручными и более доступными средствами, рисуя… глиной, да-да - глиной.

Как я дознался об этом? Перелистывая в поисках материала для этой главы старые номера журнала «Известия Архангельского Общества изучения Русского Севера» за 1911 год, я наткнулся в «Разных известиях», помещенных в конце номера шестого, на «описание выставки картин художника-самоеда И.К. Вылко в Москве» в феврале того же одиннадцатого года.

Это описание даёт представление о ранних опытах юного художника-новоземельца, о том, в каких условиях приходилось ему работать в начале своего пути. Вообще эта корреспонденция, сама являясь сколком времени, о котором идёт речь, представляется мне в этом смысле весьма интересной, поэтому я позволю себе привести её почти целиком:

«В отдельной комнате московского земского кустарного музея выставлены рисунки и этюды молодого самоедского художника. Можно по ним проследить постепенное развитие его бесхитростного творчества. Вот первые пейзажи, сделанные простым карандашом и своей кропотливой манерой напоминающие работы японских мастеров.

Впрочем, это, собственно говоря, далеко не первые опыты Вылко. Начал он рисовать цветными глинами, которых много на Новой Земле, и разведенным в воде ружейным порохом. Но этюды, сделанные таким способом, оказались недолговечными: высохшая глина осыпалась с бумаги, а пороховой раствор раз даже взорвало, когда художник вздумал просушить своё произведение у огня.

Более совершенные рисунки получились у Вылко, когда одним из членов посетившей Новую Землю экспедиции ему были подарены разноцветные карандаши. В его этюдах начинают чувствоваться жестокий рельеф бурых скал, синеватая прозрачность ледяных глыб и мягкий румянец полярных зорь.

Когда же в руки самоеда от приехавшего в их края художника попали масляные краски и последний наскоро объяснил ему способ их употребления, Вылко сразу сделал большой шаг вперёд. В его этюдах, написанных, как и ранее, детской рукой, появился воздух, и от них повеяло жуткой мощью северной природы…

Между произведениями Вылко есть вещи, которые сделали бы честь настоящему учёному художнику. Таков тихий закат в Зелёной губе с причаленной к берегу моторной лодкой и полной жизни человеческой фигурой, склонившейся к корме; таков и вид зимовья норвежских хищников, в котором они убили 50 медведей, как свидетельствует надпись на этюде.

В настоящее время Вылко берет уроки рисования и живописи у Переплётчикова и Архипова…»

Итак, Вылко в Москве и берет у Переплётчикова и Архипова уроки живописи. Как же, однако, попал он с Новой Земли в Москву? Как стал учеником известных художников?

Этим, как и многим другим в своем развитии, Тыко Вылко обязан Русанову.

Заметя художническую одаренность своего друга, Русанов, уезжая осенью 1910 года с Новой Земли, берёт Тыко с собой в Архангельск, а оттуда везёт его в Москву. Русанов был в дружеских отношениях с живущим в Москве передвижником Переплётчиковым, и вместе с художником они решили, что нужно всерьёз заняться развитием и ученьем Тыко Вылко. Московские

друзья Русанова и Переплётчикова принимают близкое участие в судьбе талантливого самородка и обучают его не только живописи, но также арифметике, географии, зоологии, картографии и другим наукам.

Долго, однако, продолжаться ученью Тыко Вылко не суждено было. На Новой Земле погиб Санко - двоюродный брат Тыко, и он должен был взять на себя заботы о его семье. В 1911 году он вернулся на родину.

Приехал снова на Новую Землю и Русанов, и Тыко, конечно, тотчас же включился в работу его четвёртой по счету экспедиции.

В 1914 году у Вылко произошло резкое столкновение с царскими чиновниками и попами. В этом году в Белушьей губе, где родился и жил Тыко, построили церковь. Вылко имел неосторожность высказать по этому поводу неодобрение, заметив, что вместо дома для бога лучше бы выстроить дома для ненцев, и прибавив к этому, что ненцам вовсе не нужна церковь, как не нужен и царь.

В этих высказываниях Тыко Вылко явно чувствовалось влияние революционера Русанова, который, случалось, сидя с Вылко у костра в тундре, распевал «Вихри враждебные», «Марсельезу» и другие революционные песни.

Крамольные речи Тыко Вылко скоро дошли до начальства, и ему грозили арест и высылка на Печору. Но он не стал дожидаться, когда его схватят, и убежал на север к Карскому морю, где и поселился, сколотив себе из плавника подобие избушки.

Узнав о бегстве Тыко, начальство рассвирепело и, не будучи в состоянии настичь непокорного, запретило всем ненцам сношение с ним и снабжение патронами и мясом, рассчитывая, что лишенный средств к существованию, Вылко смирится. Но расчеты эти не оправдались. Родичи и друзья Тыко не подчинились запрету и помогали ему. Решимость Тыко не покоряться царским чиновникам осталась непоколебимой, и вернулся он к себе в родное становище Белушье только в 1917 году, когда грянули первые громы революции.

Для Тыко Вылко начинается новая, совершенно иная, чем прежде, жизнь - для него и для всех ненцев как и для всех других

народов, населяющих Россию. Тыко становится общепризнанным на Новой Земле вожаком ненцев, и его единогласно избирают председателем первого островного Совета депутатов трудящихся. Это случилось в 1924 году, и с тех пор до самого его отъезда на постоянное жительство в Архангельск, то есть до пятьдесят шестого года, Тыко Вылко остается бессменным председателем Новоземельского Совета.

Вот и близится к концу мой рассказ об этом удивительном человеке, о страшной и прекрасной его жизни, о жизни в двух эпохах. В первой эпохе он живал в снежной яме, случалось, ел разрезанную на кусочки нерпичью шкуру, бил гусей из лука деревянной стрелой и свежевал убитого оленя ножами, сделанными из острых камней, отбитых от скалы прикладом ружья. Русанов, который однажды был свидетелем подобной операции, сказал, смеясь, своему верному другу: «Ну, Илья, ты из каменного века».

Да, так оно и было на самом деле. Но грянула освежившая мир гроза пролетарской социалистической революции, и Тыко Вылко из каменного века шагнул прямо в век Октября, в век Советов, в век Человека.

Теперь в этом другом веке, в этой другой эпохе он становится полновластным хозяином жизни, хозяином своей судьбы и судеб своих сограждан. Он строит на Новой Земле школы и больницы, жилые дома и посёлки, организует промысловые и оленеводческие колхозы. Его родной край перестаёт быть заброшенным, голодным и далёким. Самолет и радио сокращают расстояние, а дружные усилия вздохнувших свободно людей ликвидируют вековую нужду, тяготевшую над ними из рода в род. Создается Ненецкий национальный округ. Тыко Вылко заседает в Комитете малых народов Севера.

А однажды новоземельский президент является в Москву к всесоюзному президенту - Михаилу Ивановичу Калинину, и они долго разговаривают о Новой Земле, о делах и нуждах ненцев. Домой из Москвы Тыко Вылко вернулся с моторными катерами, строительными материалами, рыболовецким и охотничьим снаряжением для своих земляков-ненцев.

Я говорил, что обживание Новой Земли - главная тема художнического творчества Тыко Вылко. Оно было и главной жизненной заботой его. Все недюжинные способности его, все его

усилия были направлены на то, чтобы обживание голой и холодной ненецкой земли шло быстрей и лучше, чтобы стала она обильной и щедрой и дарила людям свои богатства.

Тыко Вылко был не только художником, картографом, исследователем, мореходом, охотником, каюром, краеведом, просветителем, организатором. Ко всему этому он был ещё поэтом и сказителем. От него записано немало старинных легенд. Он и сам сочинял песни и легенды. Сам же их пел и рассказывал. И это было естественно, ибо сам Тыко Вылко - живая чудесная легенда.

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО И ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО

Не так давно мне попался на глаза портрет Бориса Шергина, которому исполнилось семьдесят лет. Посмотрел я на этот неприкрашенный портрет - на белую бороду лопатой, на лысую большую голову, на морщины, и грустно мне стало. Я знал Бориса Викторовича молодым, двадцатилетним, кудрявым. Теперь, увы, - ни кудрей, ни молодости. Ну что ж. Ушло то, что должно было уйти. Осталось то, что должно было остаться. Остался талант. Остались книги.

Впрочем, книги - это ещё не всё, когда речь идёт о Шергине. Для того, чтобы оценить творчество Шергина по достоинству, его надо не только читать, но и слушать.

У него редкостный дар сказителя. Я впервые услышал его более полувека назад. Это было в Архангельске на одном из гимназических вечеров, какие устраивались обычно на святках.

В зале танцевали, толклись, как мошкара на болоте. Мне наскучила толкотня, и я побрёл по комнатам, по классам, примыкавшим к залу. Попал не то в канцелярию, не то в учительскую. В углу сидел круглолицый румяный паренёк и что-то рассказывал. Вокруг него сидели, придвинувшись вплотную, человек двадцать и слушали, глядя ему в рот. Я вошёл, чтобы послушать, о чём идёт речь, думал: побуду минутку-другую - и уйду. Но не ушёл, а застрял основательно и надолго.

Шергин говорил сказку о Кирике, сказку стародавнюю и печальную. Она повествовала о двух названных братьях - Кирике и Олеше, у которых была «дружба милая и любовь заединая», которые «одной водой умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали».

Они поклялись на верность и вечную дружбу и любовь, и «Мать Сыру землю и Сине море призывали во свидетели». Но вот однажды отправились дружки в море на промысел. Пришли на Звериный остров, стали морского зверя бить. Олеша увлёкся, далеко от острова за зверем ушёл. В это время задул сильный ветер, и лёд в открытое море понесло. Кирик кинулся было за Олешей следом, чтобы нагнать его или хоть крикнуть, что лёд в

море пошёл, и вернуть друга на остров.

И тут вспомнилась вдруг Кирику дева Моряшка, оставшаяся в становище, которая «с обоими играет, от обоих гостинцы берёт». И только вспомнил Кирик о Моряшке, как подумал: «Олешу море унесёт, Моряшка моя будет», - и не крикнул, не остерёг названного брата.

Вскоре женился Кирик на Моряшке, да всё не шёл из ума погибший Олеша, снедала его печаль и тоска по друге-брате. Но вот пришла вдруг весть, что «варяги-разбойники идут кораблём на Двину». Не слушая уговоров жены, Кирик становится во главе дружины, которая на поморском корабле идёт навстречу врагам, чтобы отвести беду от родной земли.

Сошлись в море корабли, сцепились и принялись поморы сечь и бить разбойных пришельцев. Одолели храбрые поморы варягов и побросали их мертвые тела в море. Но и сам Кирик пал в этой битве, пронзённый вражьей стрелой. Умирая, услышал он, как звенит возле него голос названного брата, окликает его. «Ликует Кирик в смертном видении:

- Олешенька, ты ли нарушил смертные оковы? Как восстал ты от вечного сна?

И Олеша отозвался:

- Я по тебя пришёл. Сильнее смерти дружеская любовь… Подвигом ратным стерта твоя вина перед братом…»

Кончается сказка кратко и мудро: «Смерть не всё возьмёт - только своё возьмёт».

Эту чудеснейшую сказку-поэму о дружбе и любви чудеснейше сказывал молодой румянолицый Шергин, во внешнем облике которого не было ничего, что соответствовало бы щемящему сердце печальному настрою сказки. Но талант есть талант, и, слушая Шергина, ты невольно забывал и румяность щек его, и ломкость молодого голоса, и весь погружался в старую старину трагедийного братства Кирика и Олеши.

Сорок лет спустя я нашёл эту сказку в одной из книг Шергина. Там она называлась «Любовь сильнее смерти». Я впился в неё, взволнованно вычитывая строку за строкой. Она и в чтении

оказалась очень хороша, но всё же мне как-то мало было только одного текста сказки. Мне недоставало голоса и интонаций сказывающего её.

Кстати, сказительский дар Бориса Шергина очень объёмен, широк, богат. Рядом с героической трагедией Кирика и Олеши есть в репертуаре Шергина сказки совершенно иного толка - весёлые, смешные, озорные. Несколько лет спустя после первой встречи с Шергиным, о которой я повёл речь с самого начала, уже в советское время услышал я сказку, совершенно не схожую по характеру со сказкой о Кирике. Называлась она «Золочёные лбы» и начиналась так:

«На веках невкотором осударсьве царь да ише другой мужичонко исполу промышляли. И поначалу всё было добрым порядком. Вместях по рыболовным становищам болтаются, где кака питва идёт, тут уж они первым бесом.

Царь за рюмку, мужик за стакан. Мужичонко на имя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя рядом. Осенью домой с моря воротяцца, и сейчас царь по гостям с визитами заходит, по главным начальникам. Этот Капитонко и повадился с царем ходить. Его величию и не по нраву стало. Конешно, это не принято. Оногды амператора созвали ко главному сенатору на панкет. Большой стол идёт: питьё, еда, фрелины песни играют. Осударь в большом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой фрелину зачалил. Корона съехала на ухо, мундер снят, сидит в одном жилету. Рад и тому, бажоной, што приятеля нету…

И вдруг это веселье нарушилось. Капитонко в залу ворвался, всех лакеев распехал… А у самого колошишки на босу ногу, у пинжачонка рукав оторван, карманы вывернуты, под левым глазом синяк. И весь Капитон пьяне вина. Царь немножко-то соображат. Как стукнет по столу да как рявкнет:

- Вон, пьяна харя! Убрать его!

Капитонко царя услыхал, обрадовался, здороваться полез, целоваться:

- На, пёс с тобой, ты вото где? А я с ног сбился, тебя по трактирам, по пивным искамши.

Придворны гости захихикали, заощерялись. Это царю неприлично:

- Кисла ты шерсь, ну куда ты мостиссе?! Кака я те, пьянице, пара? Поди выспись.

Капитонку это не обидно ли?

- Не ты, тиран, напоил! Не тебя, вампира, и слушаю! Возьму батог потяжеле, всех разбросаю, кого не залюблю!

Брани, дак хоть потолоком полезай. Царь с Капитоном драцца снялись. Одежонку пригвали, корону под комод закатили. Дале полиция их розняла, протокол составили.

С той поры Капитона да амператора и совет не забрал. И дружба врозь… Судятся они друг со другом из-за кажного пустяка. Доносят один на другого…

Вот раз царь стоит у окна и видит: Капитонко крадётся по своему двору (он рядом жил) и часы серебрены в дрова прятат. Уж верно, крадены.

Царь обрадовался.

- Ладно, зазуба! Я тебе напряду на кривое-то веретено.

Сейчас в полицию записку. У мужика часы нашли и самого в кутузку…»

«Золочёные лбы» - сказки озорная, блестящая по форме и неподражаемая по исполнительскому мастерству. В основе её народная традиция, но в то же время это сказка Бориса Шергина. На ней лежит неизгладимая печать его яркой индивидуальности, его художнического подхода к фольклорному материалу, его личности, его темперамента, его таланта, его словаря.

Словарь этот, кстати сказать, весьма своеобразно сочетает стародавний, чисто северный, архангельский наговор с самыми что ни на есть сегодняшними и иной раз сугубо городскими словечками вроде «конешно, это не принято» или «царю эта неприлично».

В «Золочёных лбах» царь ходит «с визитами» и на «панкеты к

сенаторам». Когда царь собирается уезжать, царица Аграфена с дочкой и матерью-царицей начинают канючить: «Опять дома сидеть… Выдал бы хоть по полтиннику на тино, в тиматограф сходить. Дома скука…

Царь не слушат:

- Скука? Ах, вы лошади, кобылы вы! Взяли бы да самоварчик согрели, граммофон завели да… Пол бы вымыли».

Когда хитрый Капитонко предлагает позолотиться царскому семейству и царица спрашивает у него: «А право есть?» Капитонко им стару облигацию показывает, оне неграмотны, думают - деплом».

«Напротив царского дома учрежденье было - Земной удел. И тут заседает меницинской персонал». Туда приходят «извошшичьи деликаты» жаловаться, что просмолённые Капитоном чёрные фигуры цариц и царевны пугают лошадей. Когда на площади против царского дома начинает скопляться народ и издеваться над просмеянной царской фамилией, а «главный начальник» Земного удела предлагает отправиться к царю с докладом о создавшемся положении, «чиновники говорят: «Ура, мы тебе ераплан либо там дерижаб даим».

Примчавшись на дирижабле, которым правят извозчичьи делегаты, к находящемуся в отъезде царю, «начальник почал делать доклад: «Ваше высоко… Вот какие преднамеренны поступки фамилия ваша обнаружила… Личики свои в тёмном виде обнародовали. Зрителей полна плошшадь, фотографы снимают, несознательны элементы всякие слова говорят…»

Все эти забавные словечки, неожиданные сочетания их, вся эта весёлая словесная кутерьма - вовсе не авторский произвол и не пустое баловство забавы ради. Это вполне точно направленное острие сатиры, осмеивающей и оставшегося в дураках царя, и его семью («у царя семья така глупа была: и жена, и дочка, и маменька»), и бюрократически-чиновничий стиль речи, и всё окружение двора.

Есть в языковой ткани и строе «Золоченых лбов» ещё одна линия - это линия сближения старой сказки с сегодняшним днём. Этой цели служат и «ероплан», и «дерижаб», и «несознательные элементы». Говорятся в этой старой сказке даже совершенно

злободневные слова о событиях самого что ни на есть сегодняшнего дня. К примеру, когда высмоленные Капитонкой члены царской фамилии уселись перед окнами, выходящими на площадь, «народ это увидел, и сначала подумали, что статуи, негритянска скульптура с выставки куплена».

Я слышал эту фразу, сказанную Борисом Шергиным в те дни, когда выставка негритянской скульптуры в Москве ещё была открыта для посетителей. Современность и даже, случается, злободневность в языке стародавней сказки у Шергина не случайны, а, напротив, обдуманны и принципиальны. В интервью, данном корреспонденту «Литературной газеты» в дни своего семидесятилетия, Борис Шергин говорит: «Языку у народа надо учиться. Литературную речь нельзя выдумать. Классики питались живым словом. А по радио что порой проповедуют? «Учитесь языку у классиков!» Но ведь на месте никогда ничего не стоит. Никогда не переучить молодёжь говорить так, как говорили в девятнадцатом веке».

Вот в чём корень вопроса о языке вообще и языке таких шергинских сказок, как «Золочёные лбы» или «Волшебное кольцо». «На месте никогда ничего не стоит», а если «никогда» и «ничего», то и язык также. Фольклор не мёртвый, закостенелый панцирь некогда жившей в нём черепахи, не надгробье прошлого, а живой процесс, продолжающийся и по сей день с участием носителей его - сказителей и писателей.

Смещение различных социальных и временных категорий в словаре таких шергинских сказок, как «Золочёные лбы» или «Волшебное кольцо», укрепляет связь времён, усиливает сатирический и юмористический элементы и придаёт им неповторимо своеобразный колорит. Борис Шергин в этих своих сказках весь традиционен и весь сегодняшний. Свободный и подчас даже прихотливый вымысел настолько органично слился здесь с фольклорной народной основой сказки, что отделить одно от другого уже невозможно. Одно без другого не живёт и жить не может. Это я, пожалуй, понял, а если не в полной мере понял, то почувствовал в первую же встречу с Шергиным, слушал его сказки и старины на том памятном гимназическом вечере, когда я забрёл в отдалённую от танцевального зала комнату и увидел Шергина в окружении плотного кольца слушателей, поражённых и покорённых нежданным в этом румяном кудрявом юноше даром сказителя.

Юный сказитель был не только самобытно талантлив, но и необыкновенно щедр. Он сказывал одну сказку за другой и едва замолкал, как со всех сторон слышалось нетерпеливое:

- Ещё. Ещё. Пожалуйста…

Так я познакомился со сказителем Шергиным. С писателем Шергиным я познакомился много позже. Он хорош, самобытен, увлекателен, но всё же мне кажется, что первородный талант Шергина и истинная его стихия - сказ, устная речь.

На полке моей стоят многие книги Бориса Шергина, но в душе моей и в памяти звучит прежде всего характерный его говорок, негромкий и незвучный его голос, сказывающий неповторимо прекрасные, сказки и старины.

Северная сказка, стародавняя архангельская побывальщина, песня, былина - это атмосфера его души и наследственная его вотчина. Сказки и старины сказывал и дед, и отец Бориса Шергина. Он родился со сказкой и жил в ней всю жизнь.

Образы русской сказки питали его творческое воображение с младых лет. Они были у него на памяти, на губах, а кроме того, на кончике карандаша и кисти. Он прекрасно рисовал, и рисовал точно так же, как сказывал сказки.

Помню, примерно году в шестнадцатом забрёл я как-то к нему. Комната, в которой он жил, была невелика. Самым примечательным в этой комнатке была круглая печь - жарко натопленная и… расписанная от полу до потолка. Роспись походила на сказку: причудливые растения, невиданные цветы, люди с удлинёнными фигурами и с узкими лицами, напоминающие иконы древнерусского письма. Одеты эти люди в старинные сказочные одежды. Блёклые и удивительно гармоничные цвета одежд были богаты нежнейшими и тончайшими оттенками. Убранство, комнаты: деревянные игрушки, туеса, картинки на стенах - всё было того же стиля, того же толка, что и сказываемые Шергиным сказки. Это было жилище Сказки и прибежище Прекрасного.

Много лет спустя мне довелось увидеть книжку Бориса Шергина (сейчас она стоит вместе с другими его книгами на моей книжной полке) «У города Архангельского» с иллюстрациями автора и в его оформлении. Это прекрасный образчик

органического слияния и единства формы и содержания. В книжке этой был весь Шергин - с его природными пристрастиями, редким даром живого ощущения прекрасного и своеобразного чувствования и видения русской северной старины.

Другого Шергина, в сущности говоря, никогда и не было. Наблюдая его в быту, читая его книги, слушая его сказы, я всегда видел всё того же Шергина, с которым однажды, будучи семнадцатилетним юношей, встретился в отдаленном уголке одной из классных комнат Архангельской гимназии, где он сказывал печальную повесть жизни и страданий бедного Кирика.

Забыть прочитанное в книгах Бориса Шергина, как забыть прочитанное в любой даже самой прекрасной книге, возможно. Но забыть, как Шергин сказывал сказки, - я не в силах. И сейчас, более полувека спустя, я слышу характерный архангельский говорок Шергина и могу воспроизвести его на память в совершенной точности.

Случается, что в добрый и легкий час я сказываю в узком дружеском кругу сказки Шергина «Золочёные лбы» или «Волшебное кольцо», сказываю так, как слышал эти сказки от самого Шергина. В том, что я сказываю точно так, как сказывал их сам Шергин, я совершенно уверен. Его говор, его манера, его интонации, врезались в мою память, вошли в меня накрепко и навсегда.

Когда я говорю, что сказываю сказки Шергина точно так, как сказывает он сам, я, понятно, не ставлю себя на одну доску с этим великолепным художником устного слова. Его талант неповторим, его дар сказителя уникален. Я просто копирую его сказ, его наговор, потому что не могу отделить его сказок от него самого, потому что эта особая манера сказывать так врезалась в мою память, в моё сердце, что стала уже навечно моим личным, достоянием.

Я даже записал как-то на магнитофонною плёнку «Золочёные лбы». Интересно бы однажды заявиться к Шергину и прокрутить перед Борисом Викторовичем эту плёнку. Но для того нужно прежде собраться в Москву, разыскать Шергина на Рождественском бульваре, где он живёт зимами, или в подмосковном местечке Хотьково, где он обычно проводит лето. После того надо напроситься к Борису Шергину в гости и спустя полстолетие наново познакомиться с ним.

Говоря о Шергине, я до сих пор не касался одной важной и, как мне кажется, чрезвычайной черты его творчества, особенно ярко проявившейся в последние годы, в поздних вещах Шергина.

Что же это за черта? И чем она чрезвычайна? Давайте разберёмся. Вот открываю я вышедшую несколько лет назад книгу Шергина «Запечатленная слава» и неотрывно впиваюсь в неё. Вот первый раздел её: «Отцово знание». Вот первая глава раздела: «Рождение корабля» Вот начальные её строки: «Знаменитые скандинавские кораблестроители прошлого века - Хейнц Шифмейстер и Оле Альвик, рассмотрев и сравнив кораблестроение разных морей, много дивились искусству архангельских мастеров:

- Виват, Ершов, Загуляев енд Курочкин, мастере оф Соломбуль. Равных негде взять и не сыскать, и во всей России нет».

К этому знаменательному абзацу Шергин делает сноску, помещенную, как это полагается в добропорядочных обстоятельных трудах, внизу страницы: «Курочкин Андрей Михайлович (1770-1842), Ершов Василий Артемьевич (1776-1850), Загуляев Фёдор Тимофеевич (1792-1868) - знаменитые кораблестроители Архангелогородского адмиралтейства. Доставили кораблям архангельской конструкции мировую славу. Во второй половине XVIII века славился мастер адмиралтейства Поспелов».

Характер сноски, её чёткость и скрупулезная обстоятельность, прибавление к упоминаемым в иностранном источнике фамилиям знаменитых архангельских судостроителей их имён, отчеств, дат рождения и смерти - всё это под стать научному исследованию с его детализирующим основной текст сопроводительным аппаратом. Что ж, в сущности говоря, весь этот раздел, как и другой раздел книги «Государи-кормщики», несмотря на вольное, подчас художническое изложение материала, есть всё же именно исследование, дознание, допытывание и розыски фактов истории северного и, в частности архангельского судостроения, публикация архивных находок, изысканий о славных кораблестроителях, их обычаях и характерах, тайнах их мастерства. Это прекрасные и поучительные главы, раскрывающие в равной степени как материал, так и самого разыскателя его и рассказчика.

Последнее обстоятельство мне особенно приятно и интересно, ибо в этих материалах о Севере и северянах, его былях и буднях, истории и сегодняшней зримости, материалах, прилегающих к автору, как пропотевшая в спорой работе рубашка к телу, раскрывается и углубляется материал моего крохотного исследования - то есть сам Борис Шергин.

Вот один пример. Я рассказывал, как, придя впервые в комнату Бориса Шергина в Архангельске, увидел расписанную им печь и северные ручные поделки. Я тогда подивился этому чудесному рукомеслу и художническому умельству, но объяснить его корни и происхождение не смог. Но вот я прочёл в книге «Запечатлённая слава» такой абзац, посвященный Борисом Викторовичем отцу: «Виктор Шергин мастерски изготовлял модели морских судов. Был любитель механики. Любовь к слову сочеталась с любовью к художеству. Двери, ставни, столы, крышки сундуков в нашем доме расписаны его рукой. В живописи своей отец варьировал одну и ту же тему: корабли, обуреваемые морским волнением».

Вот они где - корни художнических вкусов, привычек, устремлений писателя, сказителя, художника Бориса Шергина. Они унаследованы, они потомственны, они взращены сызмальства средой, в которой жил и рос Шергин. И отец рисовал, и отец сказывал сказки и былины, да и не только отец. В предисловии своём к «Запечатлённой славе» Шергин говорит: «Отменной памятью, морским знаньем и уменьем рассказывать отличались и друзья отца, архангельские моряки и судостроители М.О. Лоушкин, П.О. Анкудинов, К.И. Второушин (по прозвищу Тектон), В.И. Гостев. Кроме того, что каждый из поименованных имел многолетний мореходный опыт, каждому из них сословие наше приписывало особый талант. Пафнутия Анкудинова и в морских походах и на звериных промыслах знали, как прекрасного сказочника и певца былин».

Максим Осипович Лоушкин, который в перечне капитанов, судостроителей и сказочников упомянут первым, - это как раз и есть тот самый «поморский капитан» Лоушкин, о котором рассказывает Н. Пинегин в своей книге «Георгий Седов» и который нашёл и рекомендовал для экспедиции Седова к Северному полюсу «Святого Фоку».

Как явствует из рассказанного Шергиным в «Запечатлённой

славе», Лоушкин был не только капитаном, не только искусным рассказчиком, но и знатоком истории и практики своего родного отечественного судостроения на Севере и горячим его пропагандистом.

Командуя морским судном, на котором в девяностых годах архангельский губернатор Энгельгардт путешествовал по Северу, Лоушкин при всяком удобном случае старался внушить влиятельному сановнику мысль о древности и стародавней славе северного мореходства и судостроения, о высоких мореходных качествах судов, которые строились северными мастерами-корабелами.

Это истовое, душевное, уважительное отношение к северному искусству, к мастерству северных умельцев унаследовал от своего отца; от дедов, от Лоушкина, Анкудинова, от всего своего окружения и Борис Шергин. Он унаследовал не только их жаркую приверженность к русской северной старине, но и их пропагандистский пыл, утверждающий самобытное и прекрасное.

К этой активнейшей и чудеснейшей черте шергинского творчества я и обращаюсь в конце своего рассказа о рыцаре Севера, о волшебнике Северного Слова. Впрочем, раз уж речь зашла о волшебстве слова, не могу не обратиться ещё к одному примеру из творческой практики Шергина.

В сказке его «Волшебное кольцо», о которой я вскользь упоминал, «жили Ванька двоима с матерью. Житьишко было само последно. Ни послать, ни окутацца и в рот положить нечего». Единственным богатством Ваньки-крестьянского сына было доброе сердце. Он спасает от гибели одну за другой «собаку белу, да кошку серу, да змею Скарапею».

За своё доброе сердце Ванька вознаграждается тем, что получает во владение волшебное кольцо, обладающее чудеснейшим свойством. Стоит тому, кто им владеет, «переменить кольцо с пальца на палец», как выскакивают откуда ни возьмись «три молодца», которые тотчас выполняют любое приказание их хозяина. Они строят в одну ночь хрустальный мост, соединяющий царский дворец с избой Ваньки, сватающегося к дочери царя. Самую избу его превращают в богатые дворцовые хоромы. Потом и эта изба-хоромина, и хрустальный мост переносятся в мгновенье ока за тысячи верст и ставятся «посереди городу Парижу». А после по Ванькиному

повелению и мост, и дворец-изба снова переносятся «на старое место».

Когда я слушал эту сказку, сказываемую в Архангельске Шергиным, а после в Ленинграде читал её в сборнике «Пятиречье», я не мог отделаться от ощущения, что три молодца, творящие чудеса, в сущности говоря, ни при чём, что Шергин самолично проделывает все эти колдовские небывалости, что он не только владеет волшебным кольцом, но сам и выделал его. Но главней всего для меня было то убеждение моё, что, кроме волшебного кольца, Шергин владеет ещё и Волшебным Словом, которое и делает его всемогущим кудесником, обладателем всех тайн и свойств волшебства.

Так мне казалось при слушаньи и чтении Шергина, и, я полагаю, так оно и есть на самом деле. Пусть же Волшебное Слово навсегда останется с людьми, чтобы служить им верную, добрую и долгую службу.

ТРУДНАЯ ПРОСТОТА

Приближаясь к концу своих воспоминаний, я чувствую необходимость, причём, очень приятную для меня, рассказать также о Владимире Ивановиче Жилкине - старейшем из архангельских писателей, патриархе северной поэзии, который и сейчас живёт в Архангельске.

Владимиру Ивановичу уже семьдесят пять, и груз лет, случается, весьма ощутимо давит на плечи. Но к этому я вернусь ещё в конце главы, а сейчас мне хочется побыть наедине со стихами этого истинного рыцаря муз, стихами, удивительно чёткими по рисунку и удивительно душевно настроенными.

Передо мной синяя, хорошо изданная книжечка, которую приятно держать в руках: «Вл. Жилкин. Избранные стихи. Архангельское книжное издательство». В самом низу год издания - «1959».

И мне чудится другой год: 1921, и видится не золотая по синему вязь: «Вл. Жилкин», а сам Владимир Жилкин - живой, доподлинный, коренастый, круглоголовый, прочный, с чуть приметным шенкурским акцентом читающий свои крепко, как он сам, слаженные стихи.

Надо сказать, что такого рода стихи, какие писал Жидкий, были в те взвихренные годы не очень-то в чести. И поэты, и, больше того, критики напирали по-преимуществу на разрушение старых (модная формулировка: «обветшалых») форм. Чрезвычайно уважались всяческие бунты против, так называемой, архаики, куда лихо втискивали и Пушкина, и всех, кто вслед за ним культивировал чистый, звончатый, складный русский стих.

Владимир Жилкин решительно отвергал модную рваность стиха и смысла и с непреклонной последовательностью, которую иные склонны были почитать непреоборимым упрямством, твёрдо продолжал следовать избранным путём, следовать своим взглядам, вкусам, устремлениям. Жилкин, несмотря ни на что, всегда оставался Жилкиным, а стих его всегда и на всех этапах его творчества был ясен, кристально чист, отточен и традиционен в самом лучшем смысле этого слова.

Из стихов того мятежного, трудного, жестокого и прекрасного

двадцать первого в книжку, к сожалению, вошло только одно стихотворение: «В голодный год». Вот его первые строфы:

Скатилась на покой луна крутой дорогой,

И звезды каплями роняет ночь в хлеба.

По выжженным полям к заре золоторогой

Ведёт меня впотьмах бездомная судьба.

В сухих подсолнухах буянит ветер прыткий,

Пахучим холодком глаза мои обмыв.

И рваный мой пиджак, и скудные пожитки

Давно уж брошены бродячим псам в обрыв.

Устало прохожу чрез сёла, рвы, долины,

Сутулит спину груз голодных страшных лет.

У старой мельницы свой гребень петушиный

Полощет в заводи задумчивый рассвет

Я процитировал три из четырёх строф, составляющих стихотворение «В голодный год». Почему так? Почему не все четыре строфы? Да уж больно соблазнительно было кончить цитату великолепно живописными строками: «У старой мельницы свой гребень петушиный полощет в заводи задумчивый рассвет», тем более соблазнительно, что я тут же вслед за цитатой и на её основе собирался начать разговор о живописности стихов Жилкина, о его превосходных пейзажах.

И всё же, по зрелому размышлению, я решил привести и четвёртую, заключительную строфу стихотворения:

Исчезнет скоро мрак, польётся ветер знойный,

И грудь, как рожь в полях, иссушит вновь сухмень,

И, указав мне путь к далёкой маслобойне,

О чём-то загрустит голубоглазый день.

Неправда ли, хорошо? И неправда ли - необходимо было привести и эту строфу, и по многим причинам. Гибельный суховей, который «и грудь, как рожь в полях, иссушит», в стихотворении о голодном двадцать первом, иссушившем поволжские хлеба и обрёкшем на голод миллионы людей, слишком важная составная часть, чтобы можно было пренебречь ею. Этого я не вправе был делать, как не вправе был опустить из поля зрения «далёкую маслобойню», быть может, спасительную для голодного путника. Нельзя без ущерба для целостности общей картины, общей настроенности стихотворения пренебречь и заключительной строкой: «О чём-то загрустит голубоглазый день».

Очень неожиданная строка в таком тематически жестком стихотворении. Эта жесткость и беспощадная открытость рассказа сразу и резко определена уже в заголовке: «В голодный год». Жесткость эта определена и в «бездомной судьбе» героя повествования, которая ведёт его неведомо куда «по выжженным полям». Жесткость эта в «рваном пиджаке» и в «скудных пожитках», которые за полной негодностью можно бросить в придорожную канаву или «в обрыв».

И вдруг это заключительно неожиданное: «О чём-то загрустит голубоглазый день». Откуда взялись силы у бездомного путника-поэта вызвать к бытию в эти тяжкие дни голубоглазый день будущего? Надо было иметь поистине мужественное сердце, полное веры в грядущее, Чтобы, пронеся по жизненным дорогам «груз голодных страшных лет», возвестить пришествие завтрашнего «голубоглазого дня».

О мужественном сердце поэта говорят не только его стихи, но вместе с ними и его жизнь. Всякий раз, как родной земле его грозил враг, молодой, а позже и немолодой Владимир Жилкин становился в ряды её защитников. Так было в первую мировую войну, когда, надев солдатскую шинель, Жилкин сражался на рубежах и за рубежами своей страны.

И вот, российской армии солдат,

Стою на берегах твоих, Евфрат.

Эти строки взяты из стихотворения «Воспоминания о Турции», в подзаголовке которого значатся трудные и кровавые «1914-1917 гг.».

Противостоящие на Евфрате в эти годы армии турок и русских состояли из рабочих и крестьян, и русский солдат Владимир Жилкин не мог не думать об этом.

Что занесло меня в нагорный мир

Из захолустий Ладог и Кашир?

Враги ли мне - потомок янычар,

Из Вана курд, из Анкары гончар?

Таясь, мы в камышах твоих, Евфрат,

Глушили рыбу взрывами гранат,

На разных берегах давили вшей,

Ругали генералов и пашей.

Смотрели, как багрятся клювы птиц

На вздутых трупах курдских кобылиц,

Как мертвые - плечо к плечу - полки

На Запад плыли в синеве реки.

Такие раздумья солдата в окопах первой мировой войны могли привести и, как известно, привели к тому, что:

И на ноги нас поднял лютый гнев,

И вот, от ярости рассвирепев,

Воткнули в глинозем свои штыки

Кавказские стрелковые полки.

Воткнул вместе с другими свой штык в землю и солдат

одного из этих кавказских полков Владимир Жилкин. Но когда враги новой России, воткнувшей штык в землю и в первый день существования объявившей Декрет о мире, пошли на неё войной, молодой русский солдат Владимир Жилкин добровольцем вступил в Красную Армию.

Его зачислили в сорок пятую стрелковую дивизию, которой командовал И. Якир. Здесь, в дивизионной газете «Красная звезда», начинал свой поэтический путь красноармеец Жилкин. Здесь в девятнадцатом году было напечатано его первое стихотворение «На баррикады».

Позже молодой поэт был переведён в политуправление, находившееся в Харькове, и печатался в журнале «Зори грядущего», который издавал Пролеткульт. В Харькове Жилкин попал в живую деятельную среду литературной молодёжи, где запевалой был отличный украинский поэт Мыкола Хвыльовый.

Ещё раньше в дивизионной газете Жилкчн сблизился с таким же, как он сам, молодым красноармейским поэтом Владимиром Сосюрой, имя которого вскоре стало ведомо всей стране. Друзья, одновременно начавшие поэтическую работу в дивизионной «Красной звезде», одновременно же выпустили и свои первые стихотворные сборнички. Даже назвали они оба свои первые тощенькие книжечки одинаково и очень скромно: «Стихи».

Харьковский период жизни Жилкина был плодотворным, но недолгим. Закопошился в Крыму Врангель, в августе 1920 года сформировалась Вторая конная армия, и Владимира Жилкина прикомандировали к редакции армейской газеты «Красная лава». Вместе со Второй конной, участвовавшей и в штурме Перекопа, и в ликвидации чёрного барона, Жилкин прошёл гражданскую войну, после чего вернулся на отцовскую и дедовскую землю, в родные северные края.

Тема борьбы у поэта-бойца не могла не звучать и в его последующих стихах. Стихи из цикла «Интервенция» посвящены именно этой теме. Каждое из них развивает её по-особому, и иной раз очень остро и драматично.

Крик женщины вспыхнул и замер,

Под каменным сводом летя…

В одной из пустующих камер

На свет появилось дитя.

Так начинается «Баллада о крылатом человеке». Но что же было дальше? Каковы судьбы матери и ребёнка?

Однажды, - едва лишь багрянцем

За стенкой закат догорел, -

Явился тюремщик с британцем,

И мать увели на расстрел.

«…А в камере плакал мальчишка, слезами сиротства давясь». Его убить не успели. Он выжил и, рожденный в тюрьме, взмыл на победоносных крыльях в небо - стал лётчиком.

Нет лётчику радости большей,

Чем рваться вперёд, в облака.

Разил он германцев над Польшей

С ревущего штурмовика.

Отважному асу - за тридцать.

Геройством он веку под стать.

И лишь иногда ему снится

Далёкая мёртвая мать.

Не менее драматичны строки, повествующие о судьбе английского солдата-интервента в стихотворении «Томми».

На ферме возле Бирмингама

В плену забот

Стареет седенькая мама

И сына ждёт.

А сын привезён обманом в Архангельск, и только здесь, пройдя сквозь тяжкие испытания несправедливой войны интервентов против молодой Советской республики, мало-помалу прозревает.

Попав на фронт, он «ползком сквозь ельник» пробирается в расположение красных.

И став перед нашим командиром,

Сказал:

- Камрад!

Я понял всё…

Последующие строки повествуют о трагической судьбе Томми.

Стрелок Британии в жестоком

Погиб бою.

Погиб большевиком в далёком

Лесном краю.

В пустом осиротевшем доме

Не лейте слёз.

На дорогой могиле Томми

Семья берёз

Далеко не всё в стихах Владимира Жилкина столь драматично и напряжённо. Напротив, основная тональность стихов его - лирическая, напевная. В этом своём певучем доме поэт - полный хозяин, и мастерство его именно здесь проявляется всего ярче и полней. Но примечательно, что Жилкин и в своей лирике остаётся чаще всего верен активному отношению к жизни, теме борьбы, и не изменяет своей позиции поэта-бойца. Вот к

примеру его «Берёзка»:

Где враг сжимал в полукольцо

Отряд, ползя к обозу,

Сломала мина деревцо -

Полярную березу

Упала в снег она ничком

И заломила ветки.

Упала там, где за леском

Боец лежал в разведке.

От гула боя лес дрожал

И бушевала вьюга.

Боец к груди её прижал,

Как дорогого друга.

Как мать, уснувшую навек,

А с ней - леса и реки, -

Всё то, с чем русский человек

Неразлучим навеки…

И снова бил боец врагов,

Смахнув с ресницы слёзы,

- За Родину, за отчий кров,

За русские берёзы!

И враг разжал полукольцо,

Где друг лежал в разведке,

А рядом с другом - деревцо

И сломанные ветки.

Стихотворение помечено сорок первым годом. Этот памятный всем нам год памятен по-особому и Владимиру Ивановичу, оказавшемуся в самом начале войны на Мурманском направлении Карельского фронта в зенитных войсках. Это была третья война, в которой участвовал Жилкин, участвовал, несмотря на то, что был уже не молод. Впрочем, возраст не помеха, когда не стареет душа и в груди бьётся горячее, верное сердце. Об этом поэт прекрасно и точно сказал в «Песне старого солдата»:

Мне скоро стукнет пятьдесят.

Да не беда - служу умело.

Когда стране враги грозят,

Для стариков найдётся дело.

Это так. Годы ведь не только сутулят спину, но копят уменье и понимание, копят жизненный опыт, которые в военном деле, как, впрочем, и во всяком другом, весьма годятся, а иной раз просто незаменимы.

Поэт-боец «в любой землянке был как дома» и с полным основанием, с полным правом мог заявить: «Мы в боевых делах седели. Но не старели, а росли».

Муза Жилкина была не робкого десятка. Она не молчала при громе орудий. В лежащей передо мной синей книжечке я нахожу стихи и сорок первого, и сорок второго, и сорок третьего и сорок пятого годов.

Я говорил до сих пор о Жилкине, по-преимуществу, как о поэте-бойце. Но есть у него много добрых качеств и помимо того, и они не менее примечательны и не менее заметны в его творчестве. Очень развито у Жилкина чувство природы, которое, увы, частенько у наших поэтов, особенно у молодых, или приглушено городом, или вовсе отсутствует. Ухо и глаз Жилкина

всегда навострены. Он всё вокруг слышит, всё видит и для всего находит свои особые, ярко-живописные слова: «Потрескивали облака, ломая хворост молний», «Серебристые звенят осины, как простая песенка без слов», «И дождик пробежал рысцой по синей крыше сада».

Приметчивый глаз и словесная выразительность далеко не исчерпывают достоинств его пейзажной лирики. Жилкин не просто созерцатель. В этом смысле очень показателен его маленький шедевр «Камнеломка», который не могу отказать себе в удовольствии привести целиком:

О чём ты шепчешься негромко

В полярной тундре с ветерком,

Застенчивая камнеломка,

Дрожа от стужи стебельком?

Вокруг унылые просторы:

Ни деревца, ни колосков,

А ты цветёшь, лаская взоры

И радуя зимовщиков.

И мне бы так в краю суровом

Всю жизнь до самого конца

Поэзией и добрым словом

Отогревать людей сердца.

Видите, ЧТО привлекает глаз поэта, ЧТО питает его чувства. Видите, КТО героиня его строк. Не красавица роза, не экзотические орхидеи, не пышные пионы, а скромная, малоприметная, «застенчивая камнеломка». В этом выборе - весь Владимир Жилкин, и не только в поэзии, но и в жизни.

А жизнь, надо сказать, не баловала его и готовеньким ничего не преподносила. Я говорил о трудных солдатских годах, об

огневых днях гражданской войны. Сам Жилкин в стихотворении «В голодный год» рассказал о злом голодном времени. А теперь давайте вернёмся в годы ещё более ранние. Вот отрывок из стихотворения «О далёком»:

Деревня.

В избе,

покосившейся набок,

С вытьём молодух,

с причитанием бабок,

С одною наседкой в пустом решете,

В нужде,

обречённости,

в темноте,

От вечного горя,

от горькой кручины

Слезится глазок золотистой лучины…

…Кудахтнул в углу самовар,

как петух,

Высокой запел фистулой и потух…

И, словно булыжником,

вымостив брюхо

Замешанной вкруть

с лебедой аржанухой…

Такова деревня детских лет Володи Жилкина. А вот и сами

эти годы, описанные резко, выразительно и правдиво в стихотворении «Детство»:

И вот мой ялик детства скромный

Причалил на ветру крутом

В приморском городе - к приёмной

Под вывеской «Сиротский дом».

Я в списке школы. Пояс с бляхой.

Казённый кошт. Кровать с доской.

Рыдая, бьётся жалкой птахой

Мать у калитки приютской.

И дни мои, как двойки с плюсом,

Растут сугробами обид.

Нас учит петь девица с флюсом

И на рояле дребезжит…

Сугробы обид росли изо дня в день, пока одесский сиротский дом не остался позади. Подросший Володя поступил в ремесленное училище и, в 1914 году окончив его, устроился подручным слесаря в одну из одесских типографий. Из Одессы вместе с матерью Володя перебрался к дяде-провизору в Москву, где работал учеником в аптеке, а потом в Ярославль. Но в следующем году девятнадцатилетнего Володю забрили в солдаты, и только спустя шесть лет, пройдя две войны и сто тысяч бед, Владимир Жилкин, наконец, попал в Архангельск.

И тут на долю демобилизовавшегося, измытарившегося двадцатипятилетнего Владимира Жилкина вдруг выпало несколько странно-счастливых месяцев. Приехав в Архангельск, Жилкин поселился в пригородной Соломбале и устроился работать на телефонную станцию сторожем. Вот как описывает в письме ко мне Андрей Викторович Шабунин, хорошо знающий Владимира Жилкина, тогдашнюю жизнь поэта: «Дали ему ружьё и

чердак, где жить. Ходил с ружьем и сочинял стихи. Это было лучшее время его жизни (так признавался мне Владимир Иванович) На чердаке была большая русская печка. Варил себе рагу из трески и картошки, писал стихи, чувствовал себя полным хозяином жизни…»

Если верить классикам, чердак поэту вроде бы к лицу. Впрочем, об этом, надо полагать, Жилкин не думал - просто наслаждался свободой, независимостью, обеспеченным куском трески и несколькими картофелинами на день, а пуще того возможностью целиком отдаться любимому делу, к которому уже чувствовал призвание и которому отдавался сознательно и с ощутимой радостью Это явствует с совершенной очевидностью из его стихов, относящихся к чердачному периоду.

Так жил молодой поэт. Похаживал ночью с ружьём за плечами, в дохе, привезённой ещё с фронта. Досталась эта дошка вместе с кисетом, полным махорки, тогда, когда во Вторую конную, стоявшую на станции Апостолово, приезжал Михаил Иванович Калинин и раздавал бойцам привезённые подарки Происходило это в двадцатом году, а помнилось и, верно, сейчас помнится Владимиру Ивановичу, будто вчера было Будто вчера были и чердак с русской печью, и треска с картошкой, и стихи, которые рождались тёмными ночами под яркими зимними звёздами.

Стихи Жилкина тех первых архангельских лет светлы и свежи, как первый снег. В эти же годы душа поэта накрепко и навечно приросла к родному Северу с его мерцающими белыми ночами, ранними, ослепительными, бескрайними снегами, леденящими морозами, запушёнными серебряным инеем лесами, волшебством зеленоватых, фиолетовых, рубиновых сполохов, тяжёлыми крупными звёздами, секущими метелями, острыми, бешеными ветрами, серебристыми колдовскими отзимками, обманчивыми, с причудами, затяжными вёснами, седым, незакатный во всё лето солнышком, многомесячной кромешно-тёмной ночью, длящейся целую зиму.

Суровый край не богат был красками, не щедр дарами, но своеобычен и пленителен первобытной скромно-неброской красой. Пленил он и поэта ставшего певцом Севера.

Когда я говорю, что Жилкин стал певцом Севера, я имею в виду не только природу Севера Жилкин поёт и его историю, его

людей, его героев. Он заглядывает к рыбакам, трактористам и судостроителям, на поля и на делянки лесорубов, на запани к сплавщикам и на пленённые льдами корабли, к ремонтникам и капитанам, которым не страшны «ни моряна, ни сиверко яростный». О своём родном Архангельске он пишет, как о городе-работяге:

Я люблю, когда утром купаются

В розовеющей мгле островки

И по Маймаксе всей просыпаются

Лесопильщики и речники.

Завывают, как ветер пронзительный,

У причалов сирены судов,

Откликается Судостроительный

И Сульфатный к работе готов

Сегодняшний день у Жилкина ведёт поэтическую перекличку со вчерашним и завтрашним днём города и края. Стихи «Баллада о Петре Первом», «Ломоносов в кругу друзей», «Штурман Альбанов» рассказывают о славном прошлом Севера, а заключает синюю книжечку стихотворение «Беломорская гидроцентраль», посвящённое будущей электростанции, которая должна использовать энергию морских приливов и отливов.

Интересы поэта Жилкина многообразны и разносторонни, картины жизни родного Севера многоплановы и объёмны, а изобразительные средства аскетически скупы. Поэт Жилкин немногоречив, скромен, прост. Он неизменно привержен ясной и строгой простоте, издавна верен ей и готов открыто прокламировать её. Одно из таких программных стихотворений начинается строфой:

Прекрасна жизни простота,

Теченье рек, в пруду звезда,

И ритмы тел, и просто те,

Чья жизнь в труде и простоте,

И птичьи трели из куста.

Прекрасна жизни простота.

А дальше есть такие строки:

В работу - мысль! Слова - в тиски!

В напев размеренной строки.

Практика поэта подкрепляет декларацию. Строка Владимира Жилкина всегда размеренна, всегда напевна. И всегда отличается доброй, ясной и трудной простотой.

Жизнь идёт. Жилкин продолжает воспевать в своих стихах родной Север. И отлично это делает. Муза его ничего не утратила из тех богатств, какими владела, не оскудела, не потускнела. Голос её и сегодня по-прежнему чист и свеж. В этом легко убедиться.

Передо мной несколько новых стихотворений Жилкина. Часть из них напечатана, часть прислана мне Владимиром Ивановичем в рукописи. Давайте прочтём хотя бы одно из них - «Девочка и солнце»:

Девочка в избе,

Прильнув к оконцу

И привстав

На краешке скамьи,

Подставляет

Ласковому солнцу

Худенькие

Плечики свои.

Вся сияньем утра

Налитая,

В крапинках-веснушках,

Босиком,

Шепчет и смеётся,

Заплетая

Русую косичку

Узелком.

- Здравствуй, солнце,

Золотое донце!

К нам слети

Жар-птицей

На крыльцо.

Песней иволги

Порадуй, солнце,

Обогрей

И поцелуй в лицо.

Засверкай

Над клином журавлиным,

Над моей избушкой

За селом.

Я живу в лесу

В краю былинном.

Ты наш край

Не жалуешь теплом.

Ой, не прячься в кипень

Скучных тучек,

Холодком не вей

В лесу моём.

Протяни мне

Золотистый лучик.

Мы попляшем

В горнице

Вдвоем.

Чудесное, просто чудесное стихотворение - молодое, светлое, лёгкое, пронизанное радостью жизни и ощущением красоты окружающего мира. Эта пленительная девочка из «былинного края» с худенькими плечиками и «крапинками веснушек», вся сияньем утра налитая», она не только сама пронизана тёплым, ласковым солнцем, но излучает эту ласковую радость на других.

И кажется, что так же, как она, солнечен, свеж и автор, породивший её.

И знаете, что я скажу вам на прощанье, Владимир Иванович, - солнце вам очень к лицу.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Север суров. Но он не беден и не скуп. Напротив - неисчерпаемо богат и щедр. И ещё он обладает поразительным и благодетельным свойством: не разнеживая и не развращая людей легкодоступностыо, Север вызывает к жизни в человеке самые сильные черты его характера, самые активные и волевые начала натуры.

Север не всех привлекает к себе и не всех принимает, но того, кто припал к нему, держит крепко. Северу не изменяют. Северяне - однолюбы.

Я долго жил на Севере, узнал его, привязался к нему. Здесь выпало мне много счастливых встреч с людьми, которые не только досконально знали край, его обычаи, его были и его сказки, но сами являлись живыми сказками, живыми легендами.

Я, как мог, рассказал об иных из этих встреч, об иных из этих людей. Рассказ мой окончен - пришло время расстаться с ними, с книгой, с милым моему сердцу Севером, с моим Архангельском.

Сейчас Архангельск уже не тот, каким был полстолетия назад, каким написал я его в этой книге. Нет больше старого деревянного тихого городка - стал город каменный, промышленный, вузовский, семикратно выросший по численности населения и стократ по замаху в будущее.

В начале своего рассказа о городе я много говорил о том, чего сегодняшние архангелогородцы уже никогда не увидят. Но ещё больше можно говорить о том, чего никогда не видели прежние старожилы города и чего они даже и предполагать не могли.

Как могли старожилы Архангельска предвидеть, что на берегу Северной Двины встанет огромный лесотехнический институт, что появятся медицинский и педагогический вузы, откроется двадцать шесть техникумов и профтехучилищ, что в городе будет более ста учебных заведений.

Кто мог бы всерьёз ожидать появления уникального авто-железнодорожного моста через Северную Двину, перенёсшего вокзал с заречной стороны в город. О строительстве этого моста мы, старые архангелогородцы, могли только мечтать. А теперь -

это уже не мечта, а самая доподлинная реальность. К тому же построен и ещё один мост через реку Кузнечиху, связавший город с рабочей, заводской Соломбалой.

Кто бы мог знать, что на соломбальских болотах будет воздвигнут величайший в Европе лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, который уже в 1940 году давал больше продуктов лесопиления, чем все прежние лесопилки Архангельска вместе с мезенскими и онежскими в придачу.

Но мало того, что Архангельск стал всесоюзной лесопилкой. Лес пилили, хоть и не в таких, как теперь, масштабах, в Архангельске и прежде. А вот о производстве целлюлозы и бумаги в этих краях раньше и слыхом не слыхали. А теперь получают и бумагу, и целлюлозу - и в той же Соломбале и на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате.

На Соломбальском целлюлозно-бумажном комбинате - первенце архангельской лесохимии - уже сейчас работает девять тысяч человек. Еще более мощное предприятие - Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. Когда вступят в строй агрегаты третьей очереди строительства, Архбум будет производить целлюлозы в год почти в четыре раза больше, чем производила вся дореволюционная Россия.

Архангельск не только пилит лес, обрабатывает древесину, делает бумагу и целлюлозу, не только является крупнейшим центром большой лесохимии на Севере. Он строит суда - и строит их уже более двух с половиной столетий. Здесь работают машиностроительные заводы - Соломбальский, Маймаксанский и другие, выпускающие такие сложные машины, как лесовозы и оборудование для лесозаготовительных предприятий.

На полный ход работают в городе и окрестностях домостроительные предприятия, заводы гидролизный, силикатный, цехи крупнопанельного домостроения, строятся асфальтобетонный и керамзитовый заводы.

Город обзавёлся новым молочным комбинатом, большим холодильником, птицефабрикой, теплицами, рыбокомбинатом, мебельной фабрикой, фабрикой модельной обуви, десятками других предприятий.

А порт с гигантской причальной линией более тридцати

километров, принимающий ежегодно до шестисот судов, увозящих архангельский лес в Англию, Голландию, Францию, Бельгию, ФРГ, Данию, ОАР, Марокко, Тунис, Сирию и другие страны! По экспорту леса Архангельск занимает первое место среди портов нашей страны.

Первым в той или иной области Архангельск бывал не единожды. Он был первым морским торговым портом России, Первым начал Архангельск и отечественное судостроение. Уже в наши дни в городе впервые стал создаваться советский траловый флот.

Крупные промышленные предприятия рождают вокруг себя новые посёлки. Так возник возле Архбума посёлок Первомайский, в котором живёт сейчас уже тридцать пять тысяч человек.

К слову сказать, посёлок Архбума - не единственное новое поселение. Если бы мне, к примеру, после пятидесятилетнего перерыва довелось вернуться в родные места и я бы пожелал посетить все новые города и поселки, какие возникли в области за это время, то мне, пожалуй, могло не хватить и года. Три новых города и тридцать семь посёлков городского типа родилось на Архангельской земле за последнее время.

Но обзаводясь новыми посёлками, новыми предприятиями, новыми зданиями, северяне не пренебрегают и тем старым и добрым, что получили в наследство от прежних врёмен. Яркий тому пример - Холмогоры, которые старше Архангельска лет на двести пятьдесят и были когда-то административным и торговым центром края. Здесь строили суда, курили смолу, резали по кости, ткали, валили лес и на лесопилках пилили его на доски. Отсюда пошла знаменитая молочная холмогорка.

Неподалеку от Холмогор, на противоположном берегу широкого двинского рукава, лежат памятные и дорогие нам места, родные места первого российского академика, поэта, лингвиста, химика, физика, конструктора, металлурга, географа Михайлы Ломоносова. Здесь, в деревне на Куростров, родился будущий гениальный учёный, отсюда он ушёл с рыбным обозом в Москву учиться.

Из той же деревни с тресковым обозом отправился по стопам земляка в столицу Федот Шубин - резчик по кости, ставший великим русским скульптором.

Щедра была Курострovская земля, родившая таких великолепных сынов. Не забыла она своих великих земляков и нынче. В селе Ломоносове, на месте бывшего дома, в котором родился Михайло Васильевич, открыт прекрасный музей. Здесь же памятник Ломоносову работы И. Козловского.

Есть и фабрика художественной резьбы по кости. Старый промысел, которым занимался Федот Шубин, в наши дни получил дальнейшее развитие. Старое и новое соседствуют, живут рядом. Современная техника и стародавние традиции соединились в гармоничном единстве.

Новый Архангельск создаётся не на пустом месте. Корни его гнездятся глубоко и ветвятся широко по северной земле.

Я рассказал в этой книге о сравнительно недавних былях. Вместе со всей историей старого Архангельска они составляют ту почву, на которой растёт и мужает сегодняшний Архангельск.

Да, это так: будущее вырастает из вчерашнего. И сегодняшним архангелогородцам надо его знать Связь времён неразрывна и плодотворна.

Эту связь времён я не только постигаю разумом Я несу эту связь времён в сердце своём.

В моей душе живут два Архангельска, и на равных правах. Мне дорог и мил новый Архангельск - одетый в камень, с аэродромом, с огромными мостами, вузами, крупнейшими предприятиями. Но мне дорог и мил и старый Архангельск - с парусниками на рейде, с вольнолюбивой матросской Соломбалой, с разудалой Кузнечихой, с поросшими клюквой Мхами, с чудно вырезанными берестяными туесами и деревянными полагушками, наполненными душистым молоком, с ветвисторогими оленями на зимнем бескрайнем полотнище реки, со стародавними дивными сказками и побывальщинами.

Оба Архангельска накрепко срослись во мне: они - как два названных брата и ни в чём один другому не помеха.

Многому, очень многому научил меня мой светлый город у светлой широкой реки. Он научил меня не страшиться ни бурь, ни ветров, ни дальних дорог, ни устали, ни злых врагов. Он

научил меня любить людей, научил влюблённо вглядываться в призрачный полусумрак белых ночей и угадывать за колдовскими чарами их и вчерашние, и сегодняшние, и завтрашние сказки дивного «края и обыкновенные его чудеса.

Он был не только колыбелью моей человеческой судьбы, но и стал колыбелью моего писательства, материалом многих моих книг.

Моей судьбы - такой, какова она есть, не было бы и не могло быть без судьбы Архангельска. Голос двух эпох звучит во мне через него, через милый мне Архангельск, через милый мне Север.

Сыновнюю благодарность им я несу через всю свою жизнь Пусть же она венчает и эту книгу.